

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

ШАПКА



Vladimir Voinovich

THE HAT

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1988**

Владимир Войнович

ШАПКА

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1988**

Vladimir Voinovich: SHAPKA

First Russian edition published in 1988
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Vladimir Voinovich, 1988
Copyright © Russian edition
Overseas Publications Interchange Ltd, 1988

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.

ISBN 1 870128 65 6

Cover design by Andrzej Krauze

Printed in West Germany

Когда Ефима Семеновича Рахлина спрашивали, о чем будет его следующая книга, он скромно потуплял глаза, застенчиво улыбался и отвечал:

— Я всегда пишу о хороших людях.

И всем своим видом давал понять, что пишет о хороших людях потому, что сам хороший и в жизни замечает только хорошее, а плохого совсем не видит.

Хорошими его героями были представители так называемых мужественных профессий: геологи, гляциологи, спелеологи, вулканологи, полярники и альпинисты, которые борются со стихией, то есть силой, не имеющей никакой идеологической направленности. Это давало Ефиму возможность описывать борьбу почти без участия в ней парткомов, райкомов, обкомов (чем он очень гордился) и, тем не менее, проталкивать свои

книги, по мере написания, примерно по штуке в год, без особых столкновений с цензурой или редакторами. Потом многие книги перекраивались в пьесы и кино-сценарии, по ним делались теле- и радиопостановки, что самым положительным образом отражалось на благосостоянии автора. Его трехкомнатная квартира была забита импортом: румынский гарнитур, арабская кровать, чехословацкое пианино, японский телевизор "Сони" и финский холодильник "Розенлев". Квартиру, кроме того, украшала коллекция диковинных предметов, привезенных хозяином из многих экспедиций. Предметы были развешаны по стенам, расстелены на полу, расставлены на подоконниках, на книжных полках, на специальных подставках: олени рога, моржовый клык, чучело пингвина, шкура белого медведя, панцырь гигантской черепахи, скелеты глубоководных рыб, высушенные морские ежи и звезды, нанайские тапочки, бурятские или монгольские глиняные фигурки и еще всякая всячина. Показывая мне коллекцию, Ефим почтительно комментировал: "Это мне подарили нефтяники. Это мне подарили картографы. Это — спелеологи".

В печати сочинения Рахлина оценивались обычно очень благожелательно. Правда, писали о них в основном не критики, а те же самые спелеолухи (так всех мужественных людей независимо от их реальных профессий именовал друг Ефима Костя Баранов). Отзывы эти (я подозреваю, что Ефим сам их и сочинял) были похожи один на другой и назывались "Нужная книга", "Полезное чтение", "Это надо знать всем" или как-нибудь в этом духе. Они содержали обычно утверждения, что автор хорошо знаком с трудом и бытом изображаемых героев и достоверно описывает романтику их опасной и нелегкой работы.

Во всех его рассказах (раньше Ефим писал рассказы), повестях (потом стал писать повести) и романах (теперь он пишет только романы) действуют люди, как на подбор, хорошие, прекрасные, один лучше другого.

Ефим меня уверял, что описываемые им персонажи и в жизни такие. Будучи скептиком, я в этом глубоко сомневался. Я знал, что люди везде одинаковы, что и на дрейфующей льдине среди советского коллектива есть и партийные карьеристы, и стукачи, и хоть один кадровый работник госбезопасности тоже имеется. Потому что в условиях изоляции и долговременного отрыва от родины у некоторых людей даже очень большого мужества может появиться желание выразить какую-нибудь идейно незрелую мысль или рассказать сомнительный в политическом отношении анекдот. Не говоря уж о том, что эта самая льдина может придрейфовать куда угодно, и нет никакой гарантии, что ни у кого из хороших людей не хватит мужества остаться на чужом берегу.

Когда я высказывал Ефиму это свое циничное мнение, он даже позволял себе сердиться и горячо уверял меня, что я ошибаюсь, в суровых условиях действуют другие законы, и мужественных людей судить по обычным меркам нельзя. В каком смысле нельзя? — спрашивал я. — В том смысле, что не найдется среди них ни одного, который сбежит? Не найдется ни одного, который погонится за сбежавшим? А если найдутся и тот, и тот, кто из них хороший, а кто плохой?

В конце концов Ефим просто замолкал и поджимал губы, показывая, что спорить со мной бесполезно, для того, чтобы понимать высокие устремления, надо самому обладать ими.

Во всех его романах непременно случалось какое-

нибудь центральное драматическое происшествие: пожар, буран, землетрясение, наводнение со всякими к тому же медицинскими последствиями вроде ожогов, обморожений, откочки утопленников, после чего хорошие люди бегут, летят, плывут, ползут на помощь и охотно делятся своей кровью, кожей, лишними почками и костным мозгом или проявляют свое мужество каким-то иным опасным для здоровья способом.

Сам Ефим был мужественным, но не храбрым. Он мог тонуть в полынье, валиться с какой-нибудь памирской скалы, гореть при тушении пожара на нефтяной скважине, но при этом всегда боялся тринадцатых чисел, черных кошек, вирусов, змей, собак и начальников. Начальниками он считал всех, от кого зависело дать ему что-то или отказать, поэтому в число начальников входили редакторы журналов, секретари Союза писателей, милиционеры, вахтеры, билетные кассиры, продавцы и домоуправы.

Обращаясь к начальникам с большой или маленькой просьбой, он при этом делал такое жалкое лицо, что отказать ему мог только совершеннейший истукан. Он всегда просил, вернее, выпрашивал все, начиная от действительно важных вещей, например, переиздания книги, до самых ничтожных, вроде подписки на журнал "Наука и жизнь". А уж как он хлопотал о том, чтобы "Литературка" отметила его пятидесятилетие юбилейной заметкой с фотографией, как боролся за то, чтобы ему дали хоть какой-нибудь орден, об этом можно написать целый рассказ или даже повесть. Я писать ни того, ни другого не буду, скажу только, что битву свою Ефим выиграл лишь отчасти: заметка появилась без фотографии и без всяких оценочных

эпитетов, а вместо ордена ему в порядке общей очереди была вручена почетная грамота ВЦСПС.

Впрочем, замечу к слову, кое-какие металлические знаки отличия у Ефима все же имелись. В конце войны, прибавив себе в документах пару лет, Ефим (он уже тогда был мужественным) попал в армию, но до фронта не добрался, был ранен во время бомбежки эшелона. Это его неудачное участие в войне было отмечено медалью "За победу над Германией". Двадцать и тридцать лет спустя ему за то же самое дали по юбилейной медали, в семидесятом году он получил медаль в честь столетия Ленина, а в семьдесят первом медаль "За освоение нефте-газовых месторождений Западной Сибири". Эту награду Ефиму выдал нефтегазовый министр в обмен на экземпляр романа "Скважина", посвященного, между прочим, не западно-сибирским, а бакинским нефтяникам. Упомянутые медали украшали ефимовскую анкету и в биографических данных позволяли ему со скромным достоинством отмечать: "Имею правительственные награды". А иной раз он писал не правительственные, а боевые, так звучало эффектней.

Меня Ефим посещал обычно по четвергам, когда ему как ветерану войны в магазине напротив моего дома выдавали польскую курицу, пачку гречки, рыбные палочки, банку растворимого кофе и слипшийся засахаренный мармелад "Лимонные дольки". Все это он носил в большом портфеле, в котором помещались и другие закупленные по дороге продукты, а также пара экземпляров только что вышедшего романа для подарков случайно встреченным нужным хорошим людям. Там же, конечно, была и новая рукопись, с которой он спешил ознакомить своих друзей, в число которых

включал и меня. Я до сих пор хорошо помню толстую желтую папку с коричневыми завязками и надписью "Дело №...".

Поставив портфель на стул, Ефим осторожно вытаскивал папку и вручал мне, одновременно как бы и смущаясь, и оказывая честь, которой он не каждого удостоивал (не каждый, правда, спешил удостоиться).

— Знаешь, — говорил он, отводя при этом глаза, — мне очень важно знать твое мнение.

Иногда я пытался как-нибудь отбрыкаться.

— Ну зачем тебе мое мнение? Ты же знаешь, что от критики я отошел, потому что всерьез заниматься критикой не дают, а не всерьез ею заниматься не стоит. Я работаю в институте, получаю зарплату. А о текущей литературе писать не собираюсь. Ни о твоих книгах, ни о других.

Он в таких случаях пугался, смущался и пытался меня уверить, что ни на какую печатную критику и не надеется, ему достаточно только моего высокоавторитетного устного мнения. И, конечно, я всегда давал слабину.

Однажды, впрочем, я сильно на Ефима рассердился и сказал не ему, а своей жене:

— Вот придет, и я ему скажу, что я его книгу не читал и читать не буду. Я не хочу читать про хороших людей. Я хочу читать про всяких негодяев, неудачников и проходимцев. Про Чичикова, Акакия Акакиевича, про Раскольников, который убивает старух, про человека в футляре или про Остапа Бендера. А мой любимый герой — дезертир, торгующий краденными собаками.

— Подожди, не горячись, — попыталась меня утихомирить жена. — Посмотри хотя бы первые страницы, может быть, в них все-таки что-то есть.

— И смотреть не желаю! В них ничего нет и быть не может. Глупо ожидать от вороны, что она вдруг запоет соловьем.

— Но ты хоть полистай.

— И листать нечего! — Я швырнул рукопись, и она разлетелась по всей комнате.

Жена вышла, а я, поостыв, стал собирать листки, заглядывая в них и возмущаясь каждой строкой. В конце концов я пролистал всю рукопись, прочел несколько страниц в начале, заглянул в середину и в конец.

Роман назывался "Перелом". Один из участников геологической экспедиции сломал ногу (и вначале даже мужественно пытался это скрыть), а врача поблизости нет, он находится в поселке за сто пятьдесят километров, и имеющийся у экспедиции вездеход на беду сломался. И вот хорошие люди несут своего мужественного товарища на руках, в дождь и снег, через топи и хляби, переживая невероятные трудности. Больной, хотя и мужественный, но немного отсталый. По-хорошему отсталый. Он просит друзей оставить его на месте, потому что они уже нашли конец рудной жилы, которая очень нужна государству. А раз нужна государству, то и для него она дороже собственной жизни. (Хорошие люди тем, собственно, и хороши, что своей жизнью особо не дорожат.) Герой просит его оставить и получает, разумеется, выговор от хороших своих товарищей за оскорбление. За высказанное им предположение, что они могут покинуть его в беде. И хотя у них кончились все припасы — и еда, и курево, и ударили морозы, они все-таки донесли товарища до места, не бросили, не пристрелили, не съели.

Все было ясно. На листке бумаги я набросал

некоторые заметки и ждал Ефима, чтобы сказать ему правду.

В четверг, как всегда, он явился, нагруженный своим раздутым портфелем, из которого и мне досталась банка болгарской кабачковой икры.

Мы поговорили о том, о сем, о последней передаче "Голоса Америки", о наших домашних, о его сыне Тишке, который учился в аспирантуре, о дочке Наташе, жившей в Израиле, обсудили одну очень смелую статью в "Литературной газете" и оценили шансы консерваторов и лейбористов на предстоящих выборах в Англии. Почему-то отношения консерваторов и лейбористов Ефима всегда волновали, он регулярно и заинтересованно пересказывал мне, что Нил Киннок сказал Маргарет Тэтчер и что Тэтчер ответила Кинноку.

Наконец, я понял, что уклоняться дальше некуда, и сказал, что рукопись я прочел.

— А, очень хорошо! — Он засуетился, немедленно извлек из портфеля средних размеров блокнот с Юрием Долгоруким на обложке, а из кармана ручку "Паркер" (подарили океанологи) и выжидательно уставился на меня.

Я посмотрел на него и покашлял. Начинать прямо с разгрома было неловко. Я решил подсластить пилюлю и сказать для разгона что-нибудь позитивное.

— Мне понравилось... — начал я, и Ефим, подведя под блокнот колено, застрочил что-то быстро, прилежно, не пропуская деталей.

— Но мне кажется...

Паркеровское перо отделилось от блокнота, на лице ефимовом появилось выражение скуки, глаза смотрели на меня, но уши не слышали.

Это была не осознанная тактика, а феномен такого

сознания, обладатели которого видят, слышат и помнят только то, что приятно.

— Ты меня не слушаешь, — заметил я, желая хотя бы частично пробиться со своей критикой.

— Нет-нет, почему же! — Слегка смутясь, он приблизил перо к бумаге, но записывать не спешил.

— Понимаешь, — сказал я, — мне кажется, что, сломав ногу, человек, даже если он очень мужественный и очень хороший, во всяком случае в первый момент, думает о ноге, а не о том, что государству нужна какая-то руда.

— Кобальтовая руда, — уточнил Ефим, — она государству нужна позарез.

— А, ну да, это я понимаю. Кобальтовая руда, она, конечно, нужна. Но она там лежала миллионы лет и несколько дней, наверно, может еще полежать, каши не просит. А нога в это время болит...

Ефим поморщился. Ему было жаль меня, чуждого высоких порывов, но спорить, он понимал, бесполезно. Если уж в человеке чего-то нет, так нет. Поэтому он ограничил нашу дискуссию пределами, доступными моему пониманию, и спросил, что я думаю об общем построении романа, о том, как это написано.

Написано это было, как всегда, из рук вон плохо, но я увидел в глазах его такое отчаянное желание услышать хорошее, что сердце мое дрогнуло.

— Ну написано это... — Я немного помялся... — Ну, ничего. — Посмотрел на него и поправился. — Написано довольно хорошо.

Он просиял.

— Да, мне кажется, что стилистически...

За такой стиль, конечно, надо убивать, но глядя на Ефима, я промямлил, что по части стиля у него все в порядке, хотя есть некоторые шероховатости...

Тут он полез в карман, то ли за платком, то ли за валидолом, и я понял, что даже некоторых шероховатостей достаточно для небольшого сердечного приступа.

— Маленькие шероховатости, — поспешил я поправиться. — Совсем небольшие. А впрочем, может быть, это мое субъективное мнение. Ты знаешь, меня и раньше всегда ругали за субъективизм. А объективно это вообще хорошо, здорово.

— А как тебе понравилось, когда Егоров лежит и смотрит на Большую Медведицу?

Егоровым, кажется, звали главного героя. А вот где он лежит и на что смотрит, этого я припомнить не мог и вынужденно похвалил Егорова и Большую Медведицу.

— А сцена в кабинете начальника главка? — посмотрел на меня Ефим, поощряя к нарастающему восторгу.

О, Боже! Какого еще главка? Я был уверен, что там все действие происходит только на лоне недружелюбной природы.

— Да-да-да, — сказал я, — в главке это вообще, это да. И название очень удачное, — добавил я, чтобы подальше уйти от деталей.

— Да, — загорелся Ефим. — Название мне удалось. Понимаешь, речь же идет не просто о переломе конечности. Это было бы слишком плоско и примитивно. Одновременно происходит перелом в отношении к человеку, перелом в душе, перелом в сознании... Там, ты помнишь, они поднесли его к больнице и видят за замерзшим окном расплывшийся силуэт...

Разумеется, и этого я не помнил, но о силуэте отозвался самым одобрительным образом, и, чтоб избежать дальнейших подробностей, вскочил и, пряча глаза, поздравил Ефима с удачей.

Моя жена вылетела на кухню, и я слышал, как она там давилась от смеха, а он, пользуясь ее отсутствием, кинулся ко мне с рукопожатием.

— Я рад, что тебе понравилось, — сказал он взволнованно.

Покинув меня, он, как и следовало ожидать, тут же разнес по всей Москве весть о моем восторженном отзыве, сообщил о нем кроме прочих Баранову, который немедленно позвонил мне и, шепелявя больше обычного, стал допытываться, действительно ли мне понравился этот роман.

— А в чем дело? — спросил я настороженно.

— А в том дело, — сердито сказал Баранов, — что своими беспринципными похвалами вы только укрепляете Ефима в ложном мнении, будто он в самом деле писатель.

Этот Баранов, будучи ближайшим другом Рахлина, никогда его не щадил, считал своим долгом говорить ему самую горькую правду, иногда даже настолько горькую, что я удивлялся, как Ефим это терпит.

Ефим жил на шестом этаже писательского дома у метро Аэропорт — исключительно удобное место. Внизу поликлиника, напротив (одна минута ходьбы) — производственный комбинат Литературного фонда, налево (две минуты) — метро, направо (три минуты) — продовольственный магазин "Комсомолец". А еще чуть дальше, в пределах, как американцы говорят, прогулочной дистанции: кинотеатр "Баку", Ленинградский рынок и 12-е отделение милиции.

Квартира была просторная, а стала еще просторнее, после того, как семья Ефима сократилась ровно на четверть. Это случилось после того, как дочь Наташа уехала на историческую Родину, а точнее сказать, в

Тель-Авив. Уехала, между прочим, с большим скандалом.

Чтобы понять причину скандала, надо знать, что жена у Ефима была русская — Кукушкина Зина, родом из Таганрога. Кукуша (так ее ласково звал Ефим) была полная, дебелая, похотливая и глупая дама с большими амбициями. Она курила длинные иностранные сигареты, которые доставала по блату, гуляла, как говорится, "налево", пила водку, пела похабные частушки и вообще материлась, как сапожник. Она работала на телевидении старшим редактором отдела патриотического воспитания и выпускала программу "Никто не забыт, ничто не забыто". Кроме того, была секретарем партбюро, депутатом райсовета и членом общества "Знание", а под лифчиком носила крест, верила в мумиё, телепатию, экстрасенсов и наложение рук, словом, была вполне современной представительницей нашей интеллектуальной элиты. Она сохранила девичью фамилию, чтобы не портить себе карьеры и по той же причине сделала Кукушкиными и записала русскими обоих детей. Ее стратегия долго себя оправдывала. Она сама делала карьеру и литературным успехам мужа способствовала чем могла.

Ей уже было сильно за сорок, а у нее все еще были любовники, чаще военные, а из них самый важный дважды Герой Советского Союза генерал армии Побратимов. Они познакомились в ту давнюю пору, когда, еще будучи заместителем министра обороны, он увидел Кукушу по телевизору. Она так привлекла генерала, что он взялся курировать передачу "Никто не забыт, ничто не забыто". Мне рассказывали, что во времена, когда Ефим отправлялся с мужественными людьми в дальние командировки или, по выражению Баранова, искать приключений на свою ж..., Побратимов

присылал бывало за Кукушей длинную черную машину с адъютантом, маленького роста брюхатым полковником по имени Иван Федосеевич. Случалось это обычно днем, в самое, что ни на есть, рабочее время. Иван Федосеевич в форме с полным набором орденских планок являлся в редакцию, по-штатски здоровался со всеми Кукушинными сослуживцами, широко улыбался всеми своими золотыми коронками и важно сообщал:

— Зинаида Ивановна, вас ждут в генеральном штабе с материалами.

Кукуша складывала в папку какие-то бумаги и удалялась, а кто и что судачил там за спиной, ее не очень-то волновало.

А когда генерал сам навещал Кукушу, то сначала перед домом появлялся милиционер-регулирующий, потом на двух "волгах" прибывали и рассредотачивались вокруг дома какие-то люди, похожие на слесарей. В таких случаях, несмотря даже на капризы погоды, на лавке перед подъездом устраивалась парочка влюбленных. Они или пили из одной бутылки вино или обнимались, причем он (так изображал мне дело Баранов) оттягивал ее кофточку и бормотал что-то в пазуху, где, вероятно, прятался микрофон. Затем появлялось такси, которое, высадив гражданина в темных очках и надвинутой на очки серой шляпе, немедленно укатывало. Наблюдательные соседи заметили, что шофером такси был все тот же переодетый Иван Федосеевич, ну, а кем был пассажир, об этом стоит ли говорить?

Из всех Кукушинных любовников генерал Побратимов был самым щедрым и благодарным. Хотя в последнее время он мало чем мог быть полезным. Не угодив высшему начальству, он был смещен за "бонапартизм" и с прилепленными в утешение маршалскими звездами услан командовать отдаленным военным

округом. Но и уезжая, он своих друзей не забыл: Тишке Кукушкину помог освободиться от армии, а Ивана Федосеевича устроил военным комиссаром Москвы и способствовал присвоению ему генеральского звания.

Кукушкина Наташа в свое время работала переводчицей в Интуристе и тоже готовилась к аспирантуре, пока не встретила младшего научного сотрудника НИИ мясо-молочной промышленности Семена Циммермана, которому родила сына, названного по настоянию отца Ариэлем в честь (подумать только!) министра обороны Израиля. Кукуша боролась против этого имени, как могла, обещала, что никогда внука с таким именем не признает, потом все-таки признала, но называла его Артемом. Коварный Циммерман, однако, подготовил Кукуше еще более страшный удар. Явившись однажды домой, Наташа сообщила, что она и Сеня (Циммерман) решили переселиться на историческую родину и ей нужна справка от родителей об отсутствии у них материальных претензий. Это известие повергло Кукушу в ужас. Она умоляла Наташу опомниться, бросить этого проклятого Циммермана, подумать о своем ребенке. Она попрекала ее своими материнскими заботами, скормленными ей в детстве манной кашей и рыбьим жиром, напоминала о советской власти, давшей Наташе образование, о комсомоле, воспитавшем ее, пугала капитализмом, арабами и пустынным ветром хамсином, плакала, пила валерьянку, становилась перед дочерью на колени и грозила ей самыми страшными проклятиями. Справку она, конечно, не дала и запретила это делать Ефиму. Больше того, она написала в Интурист, в НИИ мясо-молочной промышленности, в ОВИР и в собственную парторганизацию заявления с просьбой спасти ее дочь, по незрелости попавшую в сионистские

сети. Но сионисты проникли, видимо, и в ОВИР, потому что в конце концов Наташе разрешили уехать без справки.

Ни на прощальный вечер, ни в аэропорт Кукуша не явилась, а Ефим простился с дочерью втайне от жены и теперь скрывал, что, преодолевая постоянный страх, время от времени получает из Израиля письма, посылаемые ему до востребования на центральный почтамт.

Наташа и ее муж устроились очень хорошо. Сеня (он теперь назывался Шимоном) определился на какой-то военный завод и получал приличное жалование, а она работала в библиотеке. Одно только было разочарование, что Ариэль, считавшийся в СССР евреем и бывший им на три четверти, в Израиле оказался русским, поскольку был рожден от русской матери (да и сама мать, всю жизнь скрывавшая свое еврейство, теперь тоже считалась гойкой по той же причине).

Вопреки ожиданиям, отъезд дочери на положении Ефима и Кукуши никак не сказался. Издательство "Молодая гвардия" по-прежнему регулярно издавало его романы о хороших людях, Кукуша продолжала работать над передачей "Никто не забыт...", руководила парткомом и носила крест, а Тишка успешно заканчивал аспирантуру.

Жизнь шла своим чередом.

Утром Ефим просыпается от легкого стука. Это упала газета "Известия", просунутая лифтершей в дверную щель. Щель эта делалась для почтового ящика, который должен бы висеть изнутри. Но ящика нет. Ефим хотел заказать этот ящик еще до рождения Тишки, да все откладывал, а теперь и не нужно. Отличный естественный будильник для чутко спящего человека. Ефим встает и, обернув свое щуплое мохнатое тело

зеленым махровым халатом, шлепает в коридор, подбирает газету и с газетой — в уборную. Затем, сполоснувши лицо, на кухню, готовить завтрак для Тишки. Пока жарится яичница, варится кофе, ставятся на стол хлеб, масло, в комнате Тишки при помощи таймера включается магнитофон "Панасоник", подарок родителей. Звуки рок-музыки звучат сперва приглушенно. Затем резкое усиление звука — Тишка, идя в уборную, дверь свою оставил открытой. Звук стихает — Тишка опять закрылся, делает зарядку с гантелями. Музыка опять гремит на всю квартиру — Тишка пошел в душ, все двери открыты. Наконец, музыка неожиданно глохнет, и Тишка появляется на кухне умытый, причесанный, аккуратно одетый: джинсы "Ранглер", синяя полуспортивная финская курточка, белая рубашка, темно-красный галстук.

— Здорово, папан!

— Доброе утро!

Тишка садится завтракать. Ефим с удовольствием смотрит на сына высокий, светловолосый, глаза серые, Кукушины. С сыном Ефиму повезло. Учится отлично, не пьет, не курит, занимается спортом (теннис и каратэ). Всегда занят: аспирант, член студенческого научного общества, член институтского бюро комсомола, председатель совета народной дружины.

Ест яичницу, прихлебывает кофе, без интереса скользит глазами по газете. Прием в Кремле. В Туркмении идет посевная. Честь и совесть партийного руководителя. Напряженность в Персидском заливе. Спорт, спорт, спорт...

— Ты сегодня поздно придешь? — спрашивает отец.

— Поздно. У нас сегодня вечером эстрадный концерт, а потом дежурство в дружине.

— Значит, к ужину тебя не ждать?

— Нет.

Вот и весь разговор. Тишка уходит, а Ефим опять варит кофе и жарит яичницу, теперь уже себе и Кукуше. А как только Кукуша ушла, посуду помыл и — к столу, чтобы написать за день свои четыре страницы, такая у него в среднем дневная норма.

Сейчас он только что приступил к работе над новым романом. Вернее, даже не приступил, а вложил в машинку чистый лист финской бумаги (ее недавно выдавали в Литфонде), написал вверху "Ефим Рахлин", написал посередине название "Операция" и задумался над первой фразой, которая ему всегда давалась с большим трудом. Хотя сюжет был обдуман полностью.

Сюжет (опять медицинский) развивался где-то посреди Тихого океана на исследовательском судне "Галактика". У одного из членов экипажа приступ аппендицита. Больной нуждается в немедленной операции, а делать ее некому, кроме судового врача. Но все дело в том, что именно он-то и заболел. Конечно, узнав о случившемся, хорошие люди во Владивостоке и в Москве обмениваются радиограммами, связываются с капитанами судов, те, естественно, тут же меняют курс и идут на помощь, но им, как во всех романах Рахлина, противостоят силы природы: шторм, туман, дождь и обледенение. Короче говоря, больной доктор принимает единственно возможное решение. Взяв ассистентом штурмана, который держит зеркало, доктор сам делает себе операцию. Но хорошие люди в это время тоже не сидят сложа руки. Как раз к концу операции к борту "Галактики" подходит флагман китобойной флотилии "Слава". Врач флагмана, рискуя жизнью, добирается до "Галактики", поднимается со своим чемоданчиком

по веревочной лестнице, однако, операция уже позади.

— Ну что ж, коллега, — осмотрев шов, говорит прибывший, — операция проведена по всем правилам нашего древнего искусства и мне остается вас только поздравить.

— Тсс! — приложив палец к обескровленным губам, шепчет прооперированный и включает стоящий на тумбочке рядом транзисторный приемник "Романтика".

Дело в том, что у него как раз сегодня день рождения и радиостанция "Океан" по просьбе его жены передает любимый романс доктора "Я встретил вас, и все былое..."

Написав название романа "Операция", Ефим задумался и попытался себе представить, как будет выглядеть это слово, если его изобразить по вертикали. Дело в том, что названия всех его романов последнего времени всегда состояли из одного слова. И не случайно. Ефим давно заметил, что популяризации литературных произведений весьма способствует включение их названий в кроссворды. Составители кроссвордов являются добровольными рекламными агентами, которых иные авторы недооценили, называя свои сочинения многословно, вроде "Война и мир", "Горе от ума" или "Преступление и наказание". В других случаях авторы оказались дальновиднее, пустив в оборот названия "Полтава", "Обломов", "Недоросль" или "Ревизор".

Ефим втайне гордился тем, что сам, без посторонней подсказки открыл такой нехитрый способ пропаганды своих сочинений. И время от времени пожинал плоды, находя в кроссвордах, печатавшихся в "Вечерке", "Московской правде", а то и в "Огоньке" заветный вопрос: "Роман Е. Рахлина". И тут же, подсчитав

количество букв, радостно вписывал: "Лавина". Или: "Скважина". Или (было у него и такое название) "Противовес". Слово из восьми букв "Операция" тоже для этой цели весьма годилось. А кроме того, подходило и для своеобразной шарады, которая только что пришла ему в голову. У него даже дух захватило, и он сначала записал шараду на отдельном листе бумаги, а потом позвонил Кукуше на работу.

— У тебя пара минут найдется?

— А что? — спросила она.

— Слушай, я придумал шараду. Первые пять букв — крупное музыкальное произведение, вторые пять букв — переносная радиостанция, а все вместе будущий роман Рахлина из восьми букв.

— Лысик, не морочь мне голову, у меня через пять минут запись.

— Ну хорошо, хорошо, — заторопился он. — Я тебе не мешаю. Я тебе только скажу, первая часть: опера...

— Лысик, — завопила Кукуша, — иди ты в ... со своей оперой. К указанному адресу Кукуша добавила несколько заковыристых выражений.

Она всегда так высказывалась, и Ефиму это нравилось, хотя сам он подобных слов избегал.

Он положил трубку и посмотрел на часы. Было четверть десятого, и Баранов, если вчера не перепил, может, уже проснулся. Он позвонил Баранову.

К телефону долго не подходили. Он намерился положить трубку, но тут в ней щелкнуло.

— Алё! — услышал он недовольный голос.

— Привет, — сказал Ефим. — Я тебя не разбудил?

— Конечно, разбудил, — сказал Баранов.

— Ну тогда извини, я тебе просто хотел загадать шараду.

— Шараду?

— Очень интересную. Первая половина слова из пяти букв: крупное музыкальное произведение, вторая половина из пяти букв: переносная радиостанция, а все вместе: хирургическое вмешательство из восьми букв.

— Слушай, старик, я вчера в доме литераторов слегка перебрал, но ты ведь не пил. Ты арифметику давно проходил? Пять и пять сколько будет?

Улыбаясь в трубку, Ефим стал объяснять, что его шарада усложненная и состоит из двух частей, как бы налезających друг на друга.

— Понимаешь, первая часть: опера, вторая часть — рация, последний слог первого слова является первым слогом второго слова, а все вместе — мой новый роман.

— Ты опять пишешь новый роман? — удивился Баранов.

— Пишу, — самодовольно признался Ефим.

— Молодец! — похвалил Баранов, громко зевая. — Работает без простоев. Пишешь быстрее, чем я читаю.

— Кстати, — напомнил Ефим, — ты "Лавину" прочел?

— "Лавину"? — переспросил Баранов. — Что еще за "Лавина"?

— Мой роман. Который я тебе подарил на прошлой неделе.

— А, ну да, — сказал Баранов. — Помню. А зачем ты спрашиваешь?

— Ну, просто мне интересно знать твое мнение.

— Ты же знаешь, что мнение мое крайне отрицательное.

— А ты прочел?

— Конечно, нет.

— Как же ты можешь судить?

— Старик, если мне дадут кусок тухлого мяса, мне

достаточно его укусить, но не обязательно дожевывать до конца.

Разговор в таком духе они вели не первый раз и сейчас, как всегда, Ефим обиделся и стал кричать на Баранова, что он хам, ничего не понимает в литературе и не знает, сколько у него, Ефима, читателей и сколько ему приходит писем. Кстати только вчера пришло письмо от одной женщины, которая написала, что они "Лавину" читали всей семьей, а она даже плакала.

— Вот слушай, что она пишет. — Ефим придвинул к себе письмо, которое лежало перед ним на виду: — "Ваша книга своим гуманистическим пафосом и романтическим настроением выгодно отличается от того потока, может быть, и правдоподобного, но скучного описания жизни, с бескрылыми персонажами, их приземленными мечтами и мелкими заботами. Она знакомит нас с настоящими героями, с которых хочется брать пример. Спасибо вам, дорогой товарищ Рахлин, за то, что вы такой, какой вы есть".

— О, Боже! — застонал в трубку Баранов. — Надо же, сколько еще дураков-то на свете! И кто же она такая? Пенсионерка, небось. Член КПСС с какого года?

Баранов попал в самую точку. Читательница действительно подписалась Н. Круглова, персональная пенсионерка, член КПСС с 1927 года. Но Ефим этого Баранову не сказал.

— Ну ладно, — сказал он, — с тобой говорить бесполезно. Не поймешь.

И бросил трубку.

Настроение испортилось. Писать уже не хотелось. Столь легко сложившийся замысел "Операции" больше не радовал. Хотя последний эпизод, где прооперирован-

ный доктор слушает любимый романс, по-прежнему казался удачным.

— Дурак, — сказал Ефим, воображая перед собою Баранова. — Нахал! Чья б корова мычала. Я написал одиннадцать книг, а ты сколько?

На этот вопрос ответить было нетрудно, потому что за всю жизнь Баранов написал всего одну повесть, был за нее принят в Союз писателей, трижды ее переиздавал, но ничего больше родить не мог и зарабатывал на жизнь внутренними рецензиями в Воениздате и короткометражными сценариями на студии научно-популярных фильмов (в просторечии Научпоп).

Впрочем, Ефим злился не только на Баранова, но и на себя самого. Он сам не понимал, почему позволял Баранову так с собой обращаться, почему терпел от него все обиды и оскорбления. Но факт, что позволял, факт, что терпел. Иногда Ефим вступал в долгие споры о ценности своего творчества, и тогда Баранов предлагал ему или посмотреть в зеркало или сравнить свои писания с книгами Чехова.

Насчет зеркала Баранов был, ничего не скажешь, прав. Иногда Ефим и в самом деле подходил к стоявшему в коридоре большому трюмо, пристально вглядывался в свое отражение и видел перед собой жалкое, лопоухое, сморщенное лицо с мелкими чертами и голым теменем, по которому рассыпалась одна растущая посередине и закручивающаяся мелким бесом прядь. И видел большие выпученные еврейские глаза, в которых не было ничего, кроме бессмысленной какой-то печали.

Но что касается Чехова, Ефим читал его часто и внимательно. И ничего не мог понять. Читая Чехова, он... нет, он, конечно, никому и никогда бы в этом не признался... но, читая Чехова, он каждый раз приходил

к мысли, что ничего особенного в чеховских писаниях нет, и он, Рахлин, пишет не хуже, а, может быть, даже немного лучше.

Ефим нервно ходил по комнате. Злясь на Баранова и на себя самого, он размахивал руками, бормотал что-то бессвязное, корчил рожи, а иногда даже по-старомодному, как лейб-гвардии офицер (неизвестно откуда в нем проснулся этот несоответствующий его происхождению атавизм), вытягивался в струнку, щелкал пятками (никак не каблуками, потому что был в мягких шлепанцах), делал резкий кивок головой, сквозь зубы произносил: "Нет уж, увольте!" и несколько раз даже плюнул в лицо воображаемого оппонента, то есть Баранова.

Умом Ефим сознавал, что в его дружбе с Барановым нет никакого смысла. Он был согласен с Кукушей, которая не понимала, что его связывает с Барановым. Он меня любит, отвечал ей Ефим, хотя сам в это не верил. Но верил, не верил, но что-то такое между ним и Барановым было. Если не любовь, то привязанность. Да такая привязанность, что оба, обмениваясь взаимными оскорблениями и попреками, одного дня не могли обойтись друг без друга, а может быть, и без самих этих попреков и оскорблений.

Не понимая этого до конца, Ефим решил прекратить с Барановым всякие отношения. Он решил это совершенно твердо (так же твердо, как решал это тысячу раз) и почувствовал (в тысячу первый раз) облегчение и успокоенность. В конце концов он не один, у него есть любимая жена, есть любимый сын, есть блудная дочь, тоже, впрочем, любимая. Да, она уехала, но их отношения сохранились, она пишет, он пишет, и они все еще близки. И кроме того, у него есть неистощимый

источник муки и радости — его работа. Вот он сейчас опять сядет за машинку, ему надо только придумать первую фразу, а там дальше дело пойдет само по себе. Пусть про него говорят, что он не очень хороший писатель. А где критерии, кто хороший, а кто не хороший? Нет критериев. Во всяком случае самому Ефиму нравилось, как он пишет, и он хорошо знал, что если бы его не печатали и не платили денег, он все равно писал бы для себя самого. Но его печатают довольно внушительными тиражами и платят такие деньги, каких он не имел никогда. В свое время, будучи рядовым сотрудником журнала "Геология и минералогия", он за зарплату во много раз меньшую вынужден был ежедневно ходить на работу, выслушивать нарекания начальства, когда опаздывал (что, правда, случалось редко), и отпрашиваться в поликлинику или в магазин.

Сейчас он сочинит первую фразу, а там все пойдет своим чередом. Появятся описания природы, появятся люди, они вступят между собой в какие-то взаимоотношения и начнется тот тайный, необъяснимый и не каждому подвластный процесс, который называется творчеством.

Пересилив себя, Ефим сел за машинку и само собой написалось так:

"Штормило. Капитан Коломийцев стоял на мостике и тоскливо озира́л взбесившееся (именно взбесившееся, подумал Ефим) пространство. Огромные волны громоздились одна за другой и бросались под могучую грудь корабля с самоотверженностью отчаянных камикадзе...". Сравнение волн с камикадзе понравилось Ефиму, но он вдруг засомневался, как правильно пишется это слово — ками- или комикадзе. Он придвинул к себе телефон и механически стал набирать но-

мер Баранова, но тут же вспомнил о своем бесповоротном решении.

Не успел опустить трубку, как его собственный телефон зазвонил. Ефим всегда утверждал, что по характеру звонка можно догадаться, кто звонит. Начальственный звонок обычно резок и обрывист, просительский — переливчат и вкрадчив. Сейчас звонок был расхлябанный, наглый.

— Ну что тебе еще? — спросил Ефим, схватив трубку.

— Слушай, слушай, — зашепелявил Баранов, — я тебе совсем забыл сказать, что писателям шапки дают.

— Понятно, — сказал Ефим и бросил трубку. Но бросил не для того, чтобы наглубить Баранову, а по другой причине.

Надо сказать, что Ефим и Баранов, живя на порядочном расстоянии друг от друга, чаще всего общались по телефону. По телефону обсуждали все волнующие их проблемы и события, которых бывало всегда в изобилии. Сплетни о тех или иных своих коллегам, об очередном заседании в секции прозы, о том, кто где проворовался, к кому от кого ушла жена и о многих политических событиях. Они критиковали колхозную систему, цензуру, книгу первого секретаря Союза писателей, обсуждали все события на Ближнем Востоке, побег на Запад очередного кагебешника, заявление новой диссидентской группы, передавали друг другу новости, услышанные по Би-Би-Си. А для того, чтобы их никто не подслушал, или, подслушав, не понял, они разработали (отчасти стихийно) сложнейшую систему иносказаний и намеков, что-то вроде особого кода, в соответствии с которым все имена, названия и основные направления их размышлений были искажены до неузнаваемости. Сами же они понимали друг друга

с полуслова. И если, например, Ефим сообщал Баранову, что по словам бабуся в Лондоне наметился большой урожай грибов, то Баранов, заменив в уме "грибы" "шампиньонами", а шампиньонов шпионами, и понимая, что под "бабусей" имеется в виду Би-Би-Си, делал вывод, что по сообщению этой радиостанции из Лондона высылаются большая группа советских шпионов. Разумеется, такой высылке оба радовались, как радовались в жизни всем другим неудачам и неприятностям государства, того самого, ради которого книжные герои Ефима охотно рисковали и жертвовали отдельными частями своего тела и всем телом целиком. А когда, например, Баранов позвонил Ефиму и сказал, что может угостить свежей телятиной, тот немедленно выскочил из дому, схватил такси и поперся к Баранову к чёрту на кулички в Беляево-Богородское во-все не в расчете на отбивную или ростбиф, а приехав, получил на очень короткое время то, ради чего и ехал — книгу Солженицына "Бодался теленок с дубом".

Итак, Баранов позвонил и сказал, что писателям дают шапки. Ефим сказал: "понятно" и бросил трубку, чтобы не привлекать внимания тех, кто подслушивает. И стал думать, что мог Баранов иметь в виду под словом "писатели" и под словом "шапки".

Естественно, ему пришло в голову, что речь идет о группе экономистов, которые недавно написали открытое письмо о необходимости более смелого расширения частного сектора. Это письмо попало на Запад, его передавали Би-Би-Си, "Голос Америки", "Немецкая волна", "Свобода" и канадское радио. Теперь, вероятно, этим "писателям" дали "по шапке". Ефиму хотелось узнать подробности, и он взглянул на часы. Было еще слишком рано. Все радиостанции, которые он слушал, вещали только по вечерам, а работавшую

круглосуточно "Свободу" в его районе не было слышно.

До вечера ждать было слишком долго, и он, забыв о своем прежнем решении, позвонил Баранову.

— Я насчет этих шапок, — сказал он взволнованно.
— Их уже выдали или только собираются?

— Их не выдают, а шьют, — объяснил Баранов.

— Что ты говоришь! — вскричал Ефим, поняв, что "писателям" "шьют дело", то есть собираются посадить.

— А что тебя удивляет? — Не понял Баранов. — Ты разве не слышал, что на последнем собрании Лукин говорил, что о писателях будут заботиться еще больше, чем раньше. Что в Сочи строят новый дом творчества, в поликлинике ввели курс лечебной гимнастики, а в литфонде принимают заказы на шапки. Я вчера там, кстати, был и заказал себе ушаночку из серого кролика.

— Так ты мне говоришь про обыкновенные зимние шапки? — осторожно уточнил Ефим.

— Если хочешь, ты можешь сшить себе летнюю.
Ефим ни с того, ни с сего разозлился.

— Что ты мне звонишь, голову с утра морочишь! — закричал он визгливо. — Ты знаешь, что утром у меня золотое время, что я утром работаю!

Он бросил трубку, но через минуту поднял ее снова.

— Извини, я погорячился, — сказал он Баранову.

— Бывает, — сказал тот великодушно. — Кстати, в поликлинике работает новый психиатр. Кандидат медицинских наук Беркович.

Ефим пропустил подковырку мимо ушей и спросил, что именно Баранову известно о шапках. Тот охотно объяснил, что по решению правления литфонда писате-

лям будут шить шапки соответственно рангу. Выдающимся писателям — пыжиковые, известным — ондатровые, видным — из сурка...

— Ты понимаешь, — сказал Баранов, — что выдающиеся писатели — это секретари Союза писателей СССР, известные — секретари Союза писателей РСФСР, а видные — это московская писательская организация. К видным могут быть причислены некоторые не секретари, а просто писатели.

— Вроде нас с тобой, — подсказал Ефим и улыбнулся в трубку.

— Ну что ты, — охладил его тут же Баранов. — Ну какие ж мы с тобой писатели. Мы с тобой члены союза писателей. А писатели, это совсем другие люди. Им, может быть, дадут что-нибудь вроде лисы или куницы, я в мехах, правда, не разбираюсь. А нам с тобой кролик как раз по чину.

Ефим сознавал, что именно таким образом и выглядела иерархия в Союзе писателей, но Баранов все же зарывался, сравнивая Ефима с собой, о чем ему следовало напомнить. Ефим, однако, сдержался и ничего не сказал, потому что Баранов был в общем-то прав. Написав одиннадцать книг, Ефим хорошо знал, что даже если он напишет сто одиннадцать, начальство все равно будет ставить его на самое последнее место, ему все равно будут давать худшие комнаты в домах творчества, никогда не подпишут на журнал "Америка", никогда не напечатают фотографии к юбилею, ну и шапку дадут, конечно, самую захудалую. В таком положении были и свои (другим, может быть, незаметные, но Ефиму очевидные) преимущества: ему никто не завидовал, никто не зарился на его место, а он втихомолку продолжал тискать романы о хороших людях.

Поэтому и сейчас он не стал спорить с Барановым и сказал, пусть, мол, за шапки борются те, кому нечего делать, а у него есть своя шапка, волчья, ему в прошлом году подарили оленеводы.

Положив трубку, он вынес телефонный аппарат в другую комнату и накрыл его подушкой, чтоб не мешал. Вернулся к машинке и, впад в некий раж, стал быстро-быстро стучать по клавишам, не соображая, что пишет. А писал он вот что. "В литфонде писателям дают шапки. Может быть, это даже хорошие шапки, но мне они не нужны. Потому что у меня есть своя шапка. У меня есть очень хорошая шапка. У меня есть волчья шапка. Она теплая, она мягкая, и никакая другая шапка мне не нужна. Пусть другие борются за шапки. Пусть за шапки борются те, кому делать нечего. А мне есть что делать и шапка у меня тоже есть. У меня есть совсем новая волчья шапка. Она мягкая, она теплая, она хорошая. А ваша шапка мне не нужна, можете оставить ее себе, можете ее скушать, можете ей подавиться, если не сможете ее прожевать".

На этом месте он сам себя остановил, перечитал написанное и удивился. С ним и раньше бывало, что он писал, находясь как бы не в себе, но обычно это все-таки имело какое-то отношение к разрабатываемому сюжету. А тут получилась какая-то чепуха. Выкривив обе губы в выражении, означающем крайнюю озадаченность, Ефим покачал головой и сунул лист под кипу лежавших справа от машинки старых черновиков. Именно здесь впоследствии этот текст был найден и прочитан. Именно этот текст дал повод критику Сорокину сказать, что талант Рахлина не был оценен по достоинству. Но надо сказать, что и сам Ефим свое сочинение тоже не оценил. Поэтому, вставив новый лист, он опять принялся сочинять что-то про капитана

Коломийцева, который стоял на штормовом ветру и придерживал рукой шапку, чтоб не слетела.

Он заметил, что опять написал слово "шапка" неосознанно. Разозлился на себя, шапку вычеркнул и вписал фуражку с выцветшим "крабом".

Капитан Коломийцев стоял на штормовом ветру и придерживал рукой форменную фуражку с выцветшим "крабом". Это было значительно лучше. Но одного капитана Ефиму было мало, надо было сразу же вводить в действие главного героя, который проходил как раз (зачем проходил, Ефим еще не придумал) мимо капитана Коломийцева.

— Доктор! — окликнул его капитан.

— К вашим услугам, сэр! — весело откликнулся доктор и по привычке старого интеллигента приподнял шапку.

— Тьфу! — сплюнул Ефим и в досаде хлопнул себя по колену. Да что ему дались эти шапки!

Он вынул и этот лист и собирался заправить следующий, когда раздался телефонный звонок.

— Слушай, — сказал Баранов, — я твою "Лавину" прочел, это гениально.

Такого Баранов еще никогда не говорил, Ефим просто опешил и не знал, что сказать. Впрочем, он тут же заподозрил, что в оценке содержится какой-то подвох, и переспросил Баранова, что он имеет в виду.

— Я имею в виду твой роман "Лавина", — повторил Баранов.

— Но ведь ты же двадцать минут назад сказал, что ты роман не читал.

— Двадцать минут назад я его не читал, а теперь прочел.

— Баранов, — застонал Ефим, — оставь меня в покое. Ты же знаешь, что я по утрам работаю. "В

отличие от некоторых”, — хотел добавить он, но не добавил.

— Ну, смотри, как хочешь, — сказал Баранов. — Я хотел тебе высказать свое мнение... Дело в том, что роман гениальный...

Все-таки произнесенный эпитет звучал так заманчиво, что даже предчувствуя каверзу, Ефим трубку не положил.

— Роман гениальный, но сильно затянут, — гнул свою линию Баранов.

— Почему же это затянут? — насторожился Ефим.

— Ну вот давай разберем. Возьмем самое начало: ”День был жаркий. Савелий Моргунов сидел за столом и смотрел, как жирная муха бьется в стекло”. Потрясающе!

— Ну да, это у меня неплохо получилось, — застенчившись, признал Ефим.

— Не неплохо, — стоял на своем Баранов, — а потрясающе! Великолепно! Но слишком мрачно.

— Мрачно?

— Очень мрачно?

Эта оценка была приятна Ефиму, потому что в глубине души он всегда хотел написать что-нибудь мрачное, а, может быть, даже непроходимое.

— Ужас, как мрачно, — повторил Баранов. — Но на этом надо и кончать. И так все понятно. Лето в разгаре, солнце в зените, жара невыносима, а окна закрыты. Савелий сидит, муха бьется в стекло, пробиться не может. Савелию жарко. Он изнывает. Он смотрит на муху и думает, что он вот так же, как эта муха, бессмысленно бьется в стекло. И ничего не выходит. А к тому же жара. Он сидит, потеет, а муха бьется в стекло. Кстати, он кто, этот Савелий?

— Прораб, — осторожно сказал Ефим.

— Так я и думал. Тем более, все ясно. Жара стоит, муха бьется, прораб потеет. Материалов не хватает, рабочие перепились, начальство кроет матом, план горит, премии не будет. Прораб потеет, настроение мрачное, муха бьется в стекло. Он понимает, что жизнь не удалась, работа не клеится, начальство хамит, жена скандалит, сын колется, дочь проститутка.

— Что ты за глупости говоришь! — завизжал Ефим тонким от оскорбления голосом. — Кто колется? Кто проститутка? У меня нет никаких проституток.

— Да что ты расшумелся, — сказал Баранов. — Какая разница, кто у тебя есть, кого нет. Я так додумал, довообразил. Ты должен читателю доверять, оставить ему простор для фантазии. Зачем же ты пишешь шестьсот страниц, когда все ясно с первой строки.

— Ничего тебе не ясно! — закричал Ефим еще более тонко. — У меня вообще не бывает никаких наркоманов и никаких проституток. Я пишу только о хороших людях, а о плохих не пишу, они меня не интересуют. А прораб у меня вообще старый холостяк.

— А-а, педераст! — обрадовался Баранов. — Тогда другое дело. Тогда все приобретает другое значение. Он сидит, он потеет, муха бьется в стекло...

Ефим не выдержал, бросил трубку.

Он хотел опять вынести аппарат, но тот зазвонил у него в руках.

— Лысик, — зажурчала трубка кукушиным голосом, — совсем забыла сказать, чтобы ты до обеда никуда не уходил. Из прачечной должны привезти белье.

— Хорошо, — сказал Ефим и стал ждать сигналов отбоя.

Его краткий ответ Кукушу удивил.

— Квитанция на столике перед зеркалом, — сказала

она, чтобы услышать опять его голос и понять, что с ним.

— Хорошо.

— Лысик, — встревожилась Кукуша, — ты чем-то расстроен?

— Нет.

— Лысик, не свисти, — сказала Кукуша. — Я же слышу по твоему голосу, что ты не в себе. Что случилось?

Ефим всегда разговаривал с женой исключительно вежливо и даже заискивающе, но тут, возбужденный Барановым, разозлился.

— Ну что ты ко мне привязалась? — закричал он плачущим голосом. — Я тебе говорю — ничего не случилось. Все хорошо, все прекрасно. Савелий летает, муха потеет, в литфонде шапки дают.

— Что? — удивилась Кукуша. — Лысик, ты случаем не чокнулся?

— Возможно. — Ефим так же быстро пришел в себя, как и вспылil. — Извини, это меня Баранов довел.

— Я так и думала. И что ж он тебе такого сказал?

— Да ничего, ничего, даже рассказывать неохота. Говорит, в литфонде писателям будут шить шапки.

Кукуша заинтересовалась, и Ефим, уже успокоившись и улыбаясь, повторил то, что услышал от Баранова — о распределении шапок по чинам: выдающимся — пыжиковые, известным — ондатровые, видным из сурка...

— А мне, — сказал он, — из кролика.

— Почему это тебе из кролика? — строго спросила Кукуша.

Он опять, повторяя Баранова, сказал почему.

— Это глупости, — сказала Кукуша. — Баранову

можно вообще ничего не давать, потому что он бездельник и алкаш. А ты — писатель работающий. Ты в командировки едешь, тебе приходится встречаться с важными людьми, ты не можешь ходить в шапке из кролика.

— Да что ты разволновалась. Я и не хожу в кролике, ты знаешь, у меня есть хорошая шапка. Волчья.

Кукуша замолчала. Она всегда так делала, когда выражала недовольство.

— Ну, Кукушенька, ты чего? — залебезил Ефим. — Ну если хочешь, я схожу, запишусь. Но они же мне не дадут. Ты же знаешь, я не секретарь союза писателей, не член партии и с пятым пунктом у меня не все в порядке.

— Ну если ты сам так ощущаешь, что ты неполноценный, то и ходить нечего. Ты хуже всех, и тебе ничего не нужно. У тебя есть своя шапка. Какое им дело, что у тебя есть! У тебя, между прочим, еще семья есть и взрослый сын. А у него шапка вытерлась, он ее уже два года носит. Да что с тобой говорить! Ты же у нас вежливый, ты добрый, тебе ничего не нужно, ты всем улыбаешься, всем кланяешься, у тебя все хорошие и ты тоже хороший и ты хуже всех.

Послышались частые гудки — Кукуша прервала разговор.

— Сумасшедшая баба, — кладя трубку, сам себе улыбнулся Ефим. — Надо же, хороший и хуже всех. Женская логика.

Несмотря на то, что Кукуша на него накричала, ему было приятно все, что было ей о нем сказано. Приятно сознавать, что ты такой добрый, хороший, бескорыстный и скромный. Но при этом он стал думать, что, может быть, она права. Он хороший, но не слишком ли? Он ведет себя скромно, а почему? Он опять вспомнил

свой писательский стаж, количество написанных книг и отзыв пенсионерки Кругловой.

Он вынул из машинки лист с незаконченным описанием капитана Коломийцева и со вздохом (видать, сегодня он уже свою норму не выполнит) быстро сочинил заявление, в котором, прежде чем изложить суть, перечислил восемнадцать лет, одиннадцать книг, правительственные награды, к чему прибавил, что часто приходится ездить в дальние командировки, включая районы Крайнего Севера (то есть шапка должна быть теплая), а также встречаться с людьми мужественных профессий и местными руководителями (то есть шапка должна быть достойной столичного писателя). На всякий случай упомянул он о своей неутомимой общественной деятельности — член совета по приключенческой литературе.

Заявление получилось на целую страницу и заканчивалось просьбой "принять заказ на пошив головного убора из...", тут он задумался, название меха для выдающихся и известных писателей назвать не посмел, сурком ограничивать возможности начальства не захотел и потому написал неопределенно: "...из хорошего меха".

Перед тем, как Ефим отправился в комбинат литфонда, его посетил сказочник Соломон Евсеевич Фишкин, живший двумя этажами ниже. Он поднялся в пижаме и шлепанцах попросить сигарету, поделиться сюжетом сказки и новыми сведениями о страданиях Васьки Трёшкина, поэта и защитника русской природы от химии и евреев. Васька был человек высокий, худой, дерганый и очень мрачного вида. Мрак проистекал оттого, что Васька себя считал (да так оно и было) со всех сторон стесненным представителями неприятной

ему национальности. Над ним жил Рахлин, под ним Фишкин, слева литературовед Аксельрод, справа профессор Блок. Напрягая усталый мозг, Васька много раз считал, думал и не мог понять, как же это получается, что евреев в Советском Союзе (так говорил ему его друг Черпаков) по отношению ко всему населению не то шесть, не то семь десятых процента, а здесь, в писательском доме, он, русский, один обложен сразу четырьмя евреями, если считать только тех, кто вплотную к нему расположен. Получалось, что в этом кооперативном доме и, очевидно, во всем союзе писателей евреев никак не меньше, чем восемьдесят процентов. Эта статистика волновала Трёшкина и повергала его в уныние. Считая себя обязанным уберечь Россию от всеобщей, как он выражался устно, евреизации, а письменно — сионизации, Васька бил в набат, писал письма в ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР, в Союз писателей, в Академию наук и в газеты. Время от времени он получал уклончивые ответы, иногда его куда-то вызывали, беседовали, выражали сочувствие, но при этом обращали внимание на принятые в нашей стране принципы братского интернационализма и терпимого отношения даже к зловредным нациям. Терпимость, однако, по мнению Васьки давно уже перешла все границы. Евреи (они же сионисты) с помощью сочувствующих им жидо-масонов давно уже (так говорил Черпаков) захватили ключевые позиции во всем мире и в нашей стране, выбирают евреев президентами и премьер-министрами, а руководителям иного национального происхождения подсовывают в жены евреек. Ежедневно и ежечасно они оплетают весь мир паутиной всеобщего заговора. Признаки этого заговора Васька находил повсюду. Вечерами, глядя в небо, он видел, как звезды перемещаются в простран-

стве, складываются в сионистские кабалистические фигуры и перемигиваются друг с другом. Он видел тайные сионистские символы в конструкциях зданий, расположении улиц и природных явлениях. Листая газеты или журналы, он находил в них как бы случайно поставленные шестиконечные звездочки, а глядя "на просвет", различал тайные водяные знаки или словесное вредительство. С одной, например, стороны напечатано "Праздник русской песни", а с другой — заголовок международной статьи "Никогда не допустим" (вместе получается: "Праздник русской песни никогда не допустим"). Сообщая об этом по инстанциям, Васька понимал, на какой опасный путь он вступил, и чувствовал, что сионисты, пытаясь от него избавиться, травят его не имеющими запаха газами и невидимыми лучами, отчего жена его заболела раком, а сам он страдает от головных болей и преждевременной импотенции. Пытаясь уберечься, он всегда принимал пищу, воду кипятил, а в кальсоны вкладывал свинцовую фольгу, чтобы защитить свой половой механизм от радиации. Недавно он сообщил в ЦК КПСС, в КГБ и в Союз писателей о загадочном исчезновении своей кошки, которая была или украдена, или отравлена сионистами. Ответа он не получил.

Дверь в квартиру Рахлиных была открыта и, войдя в нее, Фишкин застал Ефима перед зеркалом в дубленке и держащим над головой в правой руке джинсовую кепку, а в левой — волчью шапку.

— Ефим, — удивился сосед, — что с вами? Может быть, вам кажется, что у вас две головы?

Недоумение сказочника было, однако, тут же рассеяно, Ефим, сообщив о своих намерениях, сказал Фишкину, что не знает, как быть. В кепке он выглядит

несолидно и ему могут отказать как несолидному, а если придет в шапке, ему могут отказать как уже имеющему шапку.

— Люди совсем посходили с ума, — покачал головой Соломон Евсеевич. — Мне уже двадцать человек звонили про эти шапки. Все волнуются и атакуют литфонд. Кстати, вот вам мой совет — идите совсем без шапки. В вашей дубленке вы выглядите солидно. В таком виде никто не может подумать, что у вас нет шапки, и никто не посмеет сказать, что вам не нужна шапка. Впрочем, — сказал он, подумав, — вам все равно не дадут ничего, кроме какой-нибудь дряни.

— Ну почему же не дадут? — раздраженно спросил Ефим. — Вам дадут, а мне не дадут.

— Ну что вы, Ефим, они поступят гораздо более справедливо: они и вам не дадут, и мне не дадут. И знаете почему? Потому что мы оба для них гадкие утята. Между прочим, на эту тему я придумал новую сказку. Хотите послушать?

Ефим, конечно, не хотел (кто ж хочет слушать чужие сказки?), но отказывать старику было неудобно.

— Давайте, только быстро, а то я не успею.

— Я уверен, что вам понравится, — пообещал Фишкин. — Сказка так и называется — "Возвращение гадкого утенка". Здорово, а?

— Не очень, — сказал Ефим. — Хорошее название всегда состоит из одного слова.

— Допустим, — легко согласился Фишкин. — Назовем ее просто "Возвращение". Вот слушайте. Гадкий Утенок, затравленный своими братьями, ушел от них, жил на маленьком и пустынном озере и там вырос в Настоящего Прекрасного Лебедя. Обнаружив это, он обрадовался и захотел вернуться к своим, показать

им, что он не то, чтобы лучше всех, но, по крайней мере, не так уж плох. Он даже готов великодушно простить им прошлые обиды. Но они встречают его еще враждебней, чем раньше. Дело в том, что, пока его не было, они сами себя стали называть лебедями. Причем у них есть своя иерархия, а в ней место Прекрасного Лебедя занимает Селезень, который думает, что он большой, хотя на самом деле он просто жирный. А еще есть два Гордых лебедя, четыре Славных и шестнадцать Стремительных. "А кто же остальные?" — спрашивает их пришедший. Ему отвечают, что остальные это просто лебеди.

— Это вы про союз писателей? — перебил Ефим.

— Да причем тут ваш вонючий союз — возмутился Фишкин, как будто он сам в этом союзе не состоял. — Это вообще про людей. Слушайте дальше. Услышав такой ответ, Прекрасный Лебедь говорит: "Хорошо. Я ни на что особенное не претендую. Я хочу быть таким, как все. Пусть я буду тоже просто лебедем". Тут все утки переполошились, некоторые стали смеяться, а другие разгневались. Надо же, говорят, какое нахальство, мы в лебеди всю жизнь пробивались, а он хочет это звание получить просто так. А другие стали говорить, что он просто тронутый, у него мания величия. Ну, а потом все же подумали, пожалели (все-таки свой брат, лапчатый) и решили предоставить ему место Гадкого Утенка...

— С испытательным сроком! — радостно подсказал Ефим.

— Точно, — улыбнулся Фишкин.

— И он согласился?

— А этого я еще не додумал, — сказал Фишкин. — Пожалуй, все же не согласился. Обиделся, вернулся на свое озеро, плавает там, смотрит на свое отражение и

говорит сам себе, но не очень уверенно: "Нет, все-таки мне кажется, что я больше похож на лебедя, чем они".

— А утки что о нем говорят?

— В том-то и дело, что они о нем не говорят ничего. Они хотят о нем забыть и делают вид, что его вообще нет. Потому что, если помнить, что он существует, им надо называть себя не лебедями, а как-то иначе.

Рассказав затем о пропавшей трёшкинской кошке, Фишкин стрельнул две сигареты (одну про запас) и прошлепал к себе вниз, а в скором времени на лестнице появился Ефим в дубленке и красном шарфе, с непокрытой головой. Слегка перекашиваясь под тяжестью туго набитого портфеля, он нажал кнопку. Ожидая лифт, он думал о только что услышанной сказке и сам воображал себя непонятым Прекрасным Лебедем.

Лифт со стуком и скрежетом подошел. Проехав два этажа, Ефим вспомнил, что забыл квитанцию на белье. Он расстроился, потому что был суеверен и верил, если что-то забыл, пути не будет. Остановил лифт и вернулся. Взял квитанцию и, прежде чем опять выйти, посмотрел в зеркало — так требовала примета. В зеркале он увидел не Прекрасного Лебедя, а Немолодого Грустного Человека Еврейской Наружности и к тому же беззубого — оказывается, он забыл еще и вставные челюсти. Пока он насаживал челюсти и долго перед зеркалом щелкал ими, лифт угнали, он решил не дожидаться, пошел пешком.

Когда он проходил мимо квартиры Трёшкина, дверь, обитая коричневым дерматином, приотворилась, и поэт выставил в проем пол-лица с горящим подозрительным глазом. "Куда это он, интересно, идет и почему без шапки?" — думал Трёшкин. Увидев соседа, Ефим не хотел с ним здороваться, понимая, что тот ни за что

не ответит. Но, подчиняясь врожденной воспитанности, сказал "здрасьте" и дернул рукой, чтобы дотронуться, как обычно, до шапки, но коснулся голого лба, сжался, сконфузился и улыбнулся поэту. Тот, понятно, ни на улыбку, ни на приветствие никак не ответил, втянул лицо внутрь и со стуком захлопнул дверь.

Он удалился к себе в кабинет и в специальной тетради с клеенчатой обложкой сделал следующую запись: "Сегодня в 11.45 вниз по лестнице, пешком (несмотря на исправность лифта!!!) проследовал сионист Рахлин с большим портфелем, без шапки".

Обычно лифтерша сидела со своим вязаньем внизу у казенного телефона, но сейчас ее на месте не оказалось.

Ефим встретил ее во дворе, она бегала очень взволнованная.

— Надо ж какое нахальство! — кричала она на весь двор, обращаясь неизвестно к кому. — Бесстыжие! Милиции на вас нету!

— Варвара Григорьевна, что случилось? — поинтересовался Ефим.

— Да как же, что случилось? Зла не хватает, честное слово! Вонищу развели! Пьянь рваная. Идут от магазина к метро и каждый норовит завернуть под арку. Я ему говорю: "Гражданин, чтой-то вы такое делаете и куды ж вы сцйте? Здесь же вам все ж таки не туалет. Здесь такие люди живут, писатели, а вы поливаете. Вон же ж он, туалет, через дорогу..." И милиция, главное, на это дело ноль внимания. Я участковому сколько раз говорила: Неудобно все ж таки здесь писатели живут, не то что мы с вами, говорю, а он... Ой, батюшки, Ефим Семеныч, да чтой-то с вами? — перебила она сама себя. — Чтой-то вы в такой

мороз да без шапочки? Головку-то застудите, а головка-то ваша, не то что у нас, нам-то нашими головами хоть гвозди заколачивай, а ваша-то головенка для дела нужна, а вы ее так вот прямо непокрытую носите.

— А ничего, Варвара Григорьевна, надо же и закаляться, — бодро ответил Ефим и, отдав лифтерше квитанцию, пошел дальше. Мороз на самом деле был небольшой, но задувал ветер и лысина с непривычки мерзла.

Выйдя из подворотни, Ефим сразу попал в круговорот беспорядочного движения людей и машин, уминавших серый, перемешанный с солью снег. Около всех киосков, расположенных против дома и у метро, топтались и дышали паром терпеливые темные очереди: в одном — за пломбиром в пачках по сорок восемь копеек, в другом — за венгерским горошком в стеклянных банках, в третьем — за болгарскими сигаретами "Трезор". Четвертая очередь образовала кривую линию на остановке маршрутного микроавтобуса, связывавшего метро Аэропорт с Ленинградским рынком.

В холле производственного комбината было шумнее обычного. Несколько человек толклись у столика уса-той брюнетки Серафимы Борисовны, принимавшей заказ на копирку и гэдээровские ленты для пишущих машинок. Поэт-песенник Самарин демонстрировал своей молодой и полной жене новый костюм. Широко расставив ноги, он стоял посреди холла в пиджаке, утыканном иголками, и огромная лисья шапка копной выгоревшего сена неуверенно держалась на голове. Между ног его туда-сюда озабоченно ползал здоровый и краснолицый закройщик Саня Зарубин с клеенчатым сантиметром на шее. Со всех сторон слышны были негромкие разговоры, заглушаемые время от времени

доносящимся из подвала ужасным визгом. Это механик по швейным машинкам Аркаша Глотов, овладев смежной профессией, обтачивал фарфоровые зубные протезы, которые делал, конечно, "налево".

Будучи полностью обеспечен и копиркой, и лентами для машинок, и даже финской бумагой, Ефим, тем не менее, протолкался к Серафиме Борисовне и вручил ей извлеченную из портфеля плитку шоколада "Гвардейский". От нее же он узнал, что заказы на шапки оформляет лично директор Андрей Андреевич Щупов, человек новый, строгий и очень принципиальный. Определение строгий и принципиальный означало, что не берет взятку или берет не со всех, в отличие от старого директора, который на том и погорел, что брал без разбору. Погорел, впрочем, не так уж и сильно, его перевели директором подмосковного дома творчества, где он тоже жил не только на зарплату.

Очередь к директору начиналась здесь, в холле, и уходила в коридор к черной директорской двери.

— Кто последний за пыжиком? — шутя спросил Ефим.

Последним был юморист Ерофеев, мрачный пожилой человек со шрамом на левой щеке.

— За пыжиком, милейший, в очереди не стоят, — назидательно объяснил он Ефиму. — Пыжика приносят на дом, говорят "спасибо" и кланяются. Стоят за мехом попроще.

Ефим обратил внимание, что составлявшие очередь писатели тоже о своих головных уборах подумали. Некоторые были, как он, без ничего, другие в кепках и шляпах, а Ерофеев мял в руке милицейскую шапку со следом от звездочки. Ратиновое пальто на Ерофееве было расстегнуто и открывало длинный темный пиджак с двумя рядами орденов и медалей. "Вот дурак-то!" — подумал про себя Ефим, ему следовало не писать о

своих наградах, а нацепить их. Хоть и невысокого достоинства, а впечатление производят.

Он стал за юмористом и, не теряя времени даром, достал из портфеля экземпляр "Лавины", развернул на колене и на титульном листе размашисто начертил: "Андрею Андреевичу Шупову в знак глубокого уважения. Е. Рахлин".

— Какое сегодня число? — спросил он у Ерофеева и, проставляя дату, услышал:

— Фима!

Оглянулся и увидел сидевшего за журнальным столиком у окна своего бывшего однокашника по литинституту прозаика Анатолия Мыльникова в тяжелой нараспашку шубе. Лицо у него было красное, как из бани, виски блестели от пота, седоватая прядь волос закрутилась и слиплась на лбу.

— А я тебя не заметил, — сказал Ефим виновато. — Ты тоже за шапкой?

— Нет, — поморщился Мыльников. — У меня своя, вот. — Он показал на шапку, которую держал на коленях. — Это барсук. Мне тут один алкаш обещал импортные краны для ванной, вот я и жду. Садись, пока место есть.

— А я думал, ты за шапкой, — сказал Ефим, присаживаясь и почему-то вздохнул. — У меня, честно говоря, тоже есть шапка. Волчья. Мне ее подарили оленеводы. Но если дадут, почему же не взять?

— А, ты эти шапки, которые здесь шьют, имеешь в виду! Так это я давно уже, месяца два тому назад получил и отдал племяннику. Он как увидел ондатру, так чуть с ума не сошел.

— Тебе дали ондатровую шапку? — удивился Ефим.

— Да, — рассеянно подтвердил Мыльников, — ондатровую. А что?

— А ничего, — скромно сказал Ефим. — Баранову, например, дали из кролика. Ну ты же у нас, — Ефим льстиво улыбнулся, — живой классик.

Карьера Мыльников по непонятным Ефиму причинам сложилась более успешно, чем его собственная, хотя Мыльников писал не только о хороших людях, писал не так много, и печать его больше ругала, чем хвалила. Но обруганные книги Мыльникова привлекли внимание, были переведены на несколько языков, и начальству приходилось с этим считаться. Мыльникова, несмотря на ругань, продолжали печатать и даже выпускали за границу в составе разных делегаций и отдельно. Наблюдая за карьерой Мыльникова, Ефим видел, что для большого успеха гораздо выгоднее время от времени вызывать недовольство начальства, но при этом уметь балансировать, и что одни только хвалебные отзывы критиков на самом деле ничего не значат: тебя одновременно и хвалят, и презирают.

На свои заграничные гонорары Мыльников купил себе экспортную "волгу" (другие писатели в лучшем случае ездили на "жигулях"), видеомагнитофон, а дома угощал гостей виски и джином.

Сейчас он рассказывал Ефиму о своей недавней поездке в Лондон, где он прочел пару лекций, давал интервью, видел последний порношедевр и даже выступал по Би-Би-Си. По его словам, он имел в Лондоне бурный успех.

— В "Таймс" обо мне писали, что я современный Чехов, — говорил Мыльников вполголоса. — В "Гардиан" была очень положительная рецензия...

Он начал было пересказывать эту рецензию, но тут подошла Ефимова очередь, и его позвали к директору.

Войдя в директорский кабинет, Ефим увидел за тяжелым столом под плакатом с портретами членов Политбюро угрюмого человека с деревянным лицом, не имеющим выражения.

— Здравствуйте, Андрей Андреевич! — бодро поздоровался Ефим и тряхнул головой. Он попытался изобразить легкую, открытую и естественную приветливость, но под тяжелым взглядом директора съежился, ощущая, как лицо его само по себе смарщивается в угодливую, несчастную и ничтожную вроде улыбку.

Директор ничего не ответил.

Перегибаясь под тяжестью портфеля на одну сторону и чувствуя во всем теле жалкую суетливость, Ефим продвинулся к столу, на ходу нелепо улыбаясь и кланяясь.

— Рахлин Ефим Семенович, — назвал он себя и посмотрел на директора, надеясь, что тот тоже представится. Но Андрей Андреевич продолжал смотреть на Ефима недружелюбно и прямо, не ответил, не встал, не подал руки, не предложил даже сесть.

Обычно руководители мелких обслуживающих организаций были с писателями вежливей.

Не дождавшись приглашения, Ефим сам придвинул стул, сел, поставил портфель на колени и, почти овладев собой, умильно посмотрел на Андрея Андреевича.

— Значит, вы теперь у нас будете директором?

— Не буду, а есть, — поправил Андрей Андреевич, и это были первые слова, которые от него услышал Ефим.

— Ну да, да, да, — закивал Ефим торопливо. — Конечно, не будете, а есть, это я неправильно выразился. Вы к нам, вероятно, из торговой сети пришли?

Андрей Андреевич посмотрел на Ефима внимательно, помолчал, разглядывая, а потом сказал просто: — Нет, я из органов.

На этот ответ внутренние органы Ефима отреагировали рефлекторным похолоданием и некоторым опусканием в низ живота. Нет, он не испугался (бояться не было причины), но неестественно дернулся и сначала опустил, а затем поднял голову. Он устремил свой взгляд на директора, давая ему понять, что ему нечего, совершенно нечего скрывать от органов, он перед ними, как стеклышко, чист. Но встретившись с тяжелым взглядом директора, смутился, потупился, взгляда не выдержал. И тем самым выдал себя с головой. Кто совершенно чист, тому незачем прятать глаза.

— Из органов! — повторил он, пытаюсь взбодрить самого себя. — Очень приятно! — Всею своей фигурой и лицом он изображал почтение к прежней деятельности директора, но глаза его предательски бежали. — Значит, вас прислали сюда на укрепление?

— Да, — разжал губы Андрей Андреевич, — на укрепление. А вам что угодно?

Смущаясь, робея, уже и не пытаюсь поднять глаза, Ефим торопливо стал объяснять, что он слышал, что в литфонде можно сшить шапку, причем нужна хорошая шапка, потому что он часто бывает в экспедициях весьма важного государственного и научного назначения, где он изучает жизнь наших мужественных современников.

Андрей Андреевич выслушал Ефима и спросил, член ли он союза писателей. Ефим объяснил, что уже восемнадцать лет член, что билет ему в свое время вручил лично Константин Федин, что он, Рахлин, ветеран войны, имеет правительственные награды, написал одиннадцать книг и активно участвует в комиссии по

приключенческой литературе. И выложил на стол заявление. Директор проскользил глазами по тексту, открыл ящик стола и долго в него смотрел, шевеля губами. Затем ящик с грохотом был задвинут, а на заявлении Ефима красным карандашом изображена наискосок длинная резолюция. Ефим схватил заявление, вскочил на ноги, похлопал по карманам, достал очки, нацепил их и прочитал: "Принять заказ на головной убор из меха 'Кот домашний средней пушистости' ". — Кот домашний, — повторил Ефим неуверенно. — Это что такое кот домашний?

— Вы что, никогда кошек не видели? — наконец, директор, кажется, удивился.

— Нет, почему же, — возразил Ефим. — Кошек я в общем видел, у моего соседа кошка недавно пропала. Но чтобы из кошек шили шапки, этого я, признаться, не знал. А, извините за некомпетентность, кошка считается лучше кролика или хуже?

— Я думаю, хуже, — предположил директор лениво. — Кроликов разводить надо, а кошки сами растут. Он замолчал и устремил взгляд в пространство, ожидая, когда посетитель выйдет.

Посетитель, однако, не уходил. Он стоял потрясенный. Он пришел бороться за шапку лучше кролика, а ему предлагают хуже кролика. Теперь ему надо бороться даже за кролика, хотя даже кролик его никак устроить не может.

— Но позвольте... — начал Ефим, сильно волнуясь... — Я, собственно, не совсем понимаю. Если кошка хуже, чем кролик, то почему же мне из кошки? Я все-таки ветеран. Имею боевые награды. Восемнадцать лет в союзе писателей. Написал одиннадцать книг.

— Очень хорошо, что написали, — сказал директор и замолчал.

— Но вот вчера у вас был Константин Баранов. Он тоже член союза писателей, но написал только одну книгу, а я одиннадцать. Но вы даже ему подписали из кролика. Почему же Баранову из кролика, а мне из кота?

— Я не знаю, кто такой Баранов и что я ему написал. — У меня есть три списка писателей, а вас ни в одном из них нет. А для идущих вне списка у меня остались только кошки. Ничего больше предложить не могу.

Ефим пытался бороться. Пытался убедить директора, что в списках его фамилия отсутствует по недоразумению, продолжал напирать на стаж, на количество изданных книг, на свое боевое прошлое, но Андрей Андреевич сложил руки на груди и просто ждал, когда посетитель выговорится и уйдет.

Видя его непрошибаемость, Ефим сделал еще более жалкое лицо, отказался взять заявление и, бормоча ничего не значащие слова, что будет жаловаться, пошел было к дверям, но, взявшись за ручку, кое-что вспомнил и сообразил, что допустил большую оплошность, которую надо немедленно исправить.

Он повернулся и пошел назад, к директорскому столу, на ходу меняя выражение с жалкого на доброе и даже великодушное, но печать жалкости все же никуда не сошла и держалась на лице Ефима, когда он вынимал из портфеля и клал на стол перед директором экземпляр "Лавины" в ледериновом переплете.

— Совсем забыл, — сказал он, улыбаясь и кивая головой, словно кланяясь. — Это вам.

— Что это? — Андрей Андреевич, слегка отстранившись, смотрел на книгу отчужденно и с недоумением, как будто на никогда невиданный прежде предмет.

— Это вам, — еще активней заулыбался Ефим, пододвигая книгу к директору. — Это моя книга.

— Это не надо, — сказал директор и осторожно отодвинул книгу двумя руками, как предмет тяжелый, а, может быть, даже и взрывоопасный. — У меня есть свои книги.

— Нет, вы меня не так поняли, — стал объяснять Ефим словно ребенку. — Дело в том, что это не какая-то книга, это моя книга, это я ее написал.

— Я понимаю, но не надо, — сказал директор.

— Но как же, как же, — разволновался Ефим. — Это же не взятка, это символический подарок от автора. В знак искреннего уважения и расположения. Тем более, я вам все равно подписал, так что этот экземпляр в любом случае уже как бы испорчен.

— Мне, — продолжал упираться директор, — не нужны чужие вещи, ни хорошие, ни испорченные.

— Но это же вовсе даже не вещь! — закричал уже почти что истерически Рахлин. — Это книга, это духовная ценность. И тем более если с автографом автора. От этого никто не отказывается. Я даже министру одному подарил...

— Меня не интересует, что вы кому дарили, — повысил голос директор. — Он встал и, перегнувшись через стол, сунул книгу в раскрытый портфель Ефима. — Заберите это и не мешайте работать.

Униженный, оскорбленный, оплеванный Ефим вышел из кабинета.

— Ну как дела? — спросила его Серафима Борисовна.

— Очень хорошо, — жалко улыбаясь, ответил Ефим и вышел на улицу.

Похолодало. Сыпал редкий сухой снег. Ефим шел походкой старого больного человека, перегибаясь под

тяжестью портфеля, набитого его собственными никому не нужными книгами о хороших людях.

— Фима! Фима! — услышал он сзади взволнованный голос и обернулся.

В расстегнутой шубе с шапкой в руках за ним тяжело бежал Мыльников. По лицу его было видно, что он несет важное известие. У Ефима мелькнула глупая, совершенно дикая и нереалистичная мысль, что, может быть, это директор комбината просил догнать, остановить, вернуть...

Что и говорить, предположение было абсурдно. Директор промкомбината, будь он трижды из органов, не мог послать всемирно известного Мыльникова гоняться за малоизвестным писателем Рахлиным, но Ефим остановился и застыл в предвкушении чуда.

— Слушай, — переводя дыхание, махал своей барсучьей шапкой Мыльников, — совсем забыл. Еще в этой... ну как ее... в "Йоркшир пост" была обо мне статья почти что на всю страницу. С портретом... Там было написано, что я — современный Кафка.

Вечером у Ефима были гости: два полярника с женами, а потом и Тишка привел свою новую подругу, которая представилась Дашей. Дашин отец работал где-то за границей в представительстве Аэрофлота, что по дашиным нарядам было очень заметно.

Общение поначалу не клеилось. Полярники вели себя скромно, их смущало писательское звание хозяина. Девушка была здесь первый раз и тоже держалась скованно, время от времени бросая быстрый и цепкий взгляд то на Ефима, то на Кукушу (возможно, примеривалась). Впрочем, молодые сидели недолго. После ужина протомились еще с полчаса и церемонно откланялись. Тишка вызвал отца в коридор, стрельнул

пятерку на такси и ушел провожать Дашу, она жила в районе Речного вокзала.

После их ухода полярники, к тому времени уже слегка подвыпив, постепенно расковались и, хохоча и перебивая друг друга, стали рассказывать смешные случаи из их практики. Все истории были похожи одна на другую: один полярник провалился под лед и вместо "спасите" кричал почему-то "полундра", другой ночью украл на кухне банку консервированных кабачков, а потом мучился от поноса. Но самая любимая их байка была о начальнике экспедиции, который вышел утром "до ветру" и, сидя за сугробом, почувствовал, что кто-то лизнул его сзади. Случай этот, если действительно был, превратился в легенду, согласно которой начальник, думая, что это завхоз, спросил: "Это ты, Прохоров?" Оглянувшись, увидел белого медведя и кинулся бежать, потеряв по дороге штаны. Общение мужественных людей обычно к рассказыванию подобных побасенок и сводилось. Ефим знал все эти истории назубок, и сам, желая быть среди мужественных приятелей своим человеком, смеялся обычно громче всех, но сейчас ничто его не сместило, обида, нанесенная в литфонде, не выходила из головы, и он только из вежливости подхихикивал, как ему самому казалось, фальшиво.

Но после нескольких рюмок армянского коньяка общее настроение передалось и ему, он сел за пианино и аккомпанировал Кукуше, которая спела для гостей несколько матерных частушек. Гости сначала смутились, но потом оказалось, что одна из пар умеет на два голоса исполнять вологодские припевки такой похабности, до какой кукушиным частушкам было далековато. Короче говоря, вечер прошел хорошо. Гости ушли в первом часу и еще что-то долго кричали

с улицы, а Ефим, стоя на заснеженном балконе, тоже кричал и махал руками. Потом он отправил Кукушу спать (ей утром опять на работу), а сам перетаскал на кухню и там долго мыл посуду, ожидая возвращения Тишки и обдумывая дальнейшие сюжетные ходы "Операции". Ни о шапке, ни об Андрее Андреевиче он ни разу не вспомнил.

Тишка пришел после двух и, отказавшись от чаю, ушел к себе. Без четверти три Ефим залез под одеяло к Кукуше, сладко спавшей лицом к стене. Ефим привалился к ее спине, и у него возникло желание. Несмотря на возраст и гипертонию, Ефим был еще сильный мужчина и терзал Кукушу чаще, чем ей хотелось. Он не решился будить жену слишком грубо и начал ее оглаживать, постепенно продвигаясь от верхних эrogenных зон к нижним, следуя схеме, изученной им по распространяемой в самиздате ксерокопии американского руководства для супружеских пар. (Эту ксерокопию Ефим нашел однажды в нижнем ящике тишкиного стола, проштудировал со словарем и в закодированном виде переписал себе в блокнот основные принципы.)

Дойдя до источника своего вожделения и употребив строго по инструкции палец, он достиг того, что Кукуша, еще не проснувшись, задышала прерывисто, а когда она со вздохом перевернулась на спину, он тут же овладел положением и принялся за работу, равномерно потряхивая лысой своей головой.

Прожив с Кукушей около трех десятков лет, он все еще любил ее физически. Прежняя страсть прошла, но не бесследно, а заменилась неизменно возникающим и медленно растущим чувством тягучего наслаждения, когда наступает общее обалдение и ощущение, что ты куда-то плывешь. Сейчас Ефиму тоже казалось, что он

плывет, что он капитан Коломийцев; широко расставив ноги, стоит он на мостике, старый морской волк с седыми висками и пристальным взглядом серых прищуренных глаз. А вокруг бурное море, и пенные буруны, низко летящие рваные облака сбились в кучу, превратились в белых лебедей, замедлили движение, плавно заскользили над головой, и он к ним поднялся и заскользил вместе с ними.

— Так что тебе сказали насчет шапки? — вдруг спросила Кукуша, спросила громко, резко, не к месту, враз разрушив обретенное им ощущение, словно подстрелила его на лету.

— Что? — спросил он и, хотя не прекратил своего дела, но сбился с ритма, затрепыхался, как птица с перебитым крылом.

— Я тебя спрашиваю, — строго повторила Кукуша, — что тебе сказали в комбинате?

Конечно, так разговаривали они не впервые. Именно в такой позиции Кукуше чаще всего приходило на ум обсудить разные бытовые проблемы вроде перестановки мебели, покупки нового холодильника и приобретения абонеента в плавательный бассейн. И всегда это Ефиму не очень-то нравилось, но сейчас резануло особенно, а в затылке появилась неприятная ломота.

— Мне сказали, что о Мыльникове писала лондонская "Таймс", а я ничего, кроме кота пушистого, не заслужил.

— Пушистого кого?

— Кота. Так у них называется домашняя кошка. Они даже Баранову дали кролика, а мне кошку.

Он пытался продолжить начатое, но что-то не ладилось.

— А ты что сделал?

— Я расстроился и ушел, — сказал Ефим.

— И это все?

— И это все.

— Молодец! — Кукуша неожиданно выскользнула из-под него и повернулась к стене.

Она не первый раз таким образом проявляла недовольство, и всегда в подобных случаях он воспринимал это как унижение и оскорбление его мужского достоинства, но при этом не скандалил, а канючил, чтобы она выражала свои настроения как-то иначе и позволила ему доехать до завершения.

На этот раз он канючить не стал, сам отвернулся, но заснуть уже не мог, переживая обиду. Несколько раз он вставал, уходил на кухню, курил, прикладывал к затылку холодную грелку, возвращался, опять ложился спиной к Кукуше.

Утром он накормил Тишку завтраком, сам выпил кофе и ушел к себе в кабинет. Он слышал, как Кукуша встала, ходила по квартире, как, привлекая его внимание, громко хлопала дверьми и что-то роняла. Все же не выдержала и заглянула к нему уже в шубе.

— В конце концов, дело не в шапке, а в том, что ты вахлак и никогда не можешь за себя постоять. До чего же ты низко пал в глазах своего начальства, если даже кролика тебе не дают.

Ефим молча смотрел в окно, за которым видны были только грязное небо, заиндевелые верхушки деревьев и крыша кооперативного дома киношников; там человек, привязанный веревкой к трубе, возился с телевизионной антенной.

— Я бы на твоём месте позвонила Каретникову.

С этим наставлением Кукуша ушла, оставив Ефима в смешанных чувствах. Он сначала решил ее совет игнорировать. Но потом мысли его стали развиваться в нужном направлении. Он стал думать, что, может быть,

в самом деле живет неправильно, занимает примиренческую позицию, проявляет излишнюю уступчивость и пассивность. И, конечно, дело не в шапке, а в том, что он, Рахлин, тихий, робкий, вежливый человек. Рахлина можно ставить всегда на самое последнее, на самое ничтожное место, Рахлин стерпит, Рахлин смолчит. "Вот вам Рахлин смолчит!" — вдруг вскрикнул он и перед чучелом пингвина изобразил весьма неприличный жест. "Нет, — продолжал он самому себе бормотать, — я этого так не оставлю, я позвоню, я пойду к Каретникову, ему ничего не стоит, ему стоит только снять трубку и вы лично, Андрей Андреевич, несмотря на то, что вы работали в органах... А интересно, кстати, за что вас оттуда поперли?.. Вы лично, и не кота пушистого и не кролика, а вот ондатру принесете мне лично в зубах. Да, в зубах!" — злорадно прокричал он прямо в морду пингвиного чучела.

Пожалуй, возможности своего покровителя Ефим не переоценивал. Василий Степанович Каретников был выдающийся советский писатель, государственный и общественный деятель, Герой Социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС, лауреат Ленинской премии, лауреат государственной премии, лауреат премии имени Горького, член международного комитета борьбы за мир, вице-президент Общества Афро-Азиатской дружбы, член Совета ветеранов, секретарь Союза писателей СССР и главный редактор толстого журнала, в котором Ефим иногда печатался. Время от времени, откликаясь на просьбы Ефима, Каретников и в самом деле кому-то звонил или писал письма на своем депутатском бланке и, надо сказать,

что отказа на его звонки или письма, как правило, не бывало.

Однако дома Каретникова не оказалось, жена его Лариса Евгеньевна сказала, что тот отправился в поездку по странам Африки, а потом прямо из Африки поедет в Париж на заседание какой-то комиссии ЮНЕСКО. Так что вернется недели через три. Ждать так долго не было смысла, потому что за это время все заказы уже будут приняты и даже всех кроликов уже раскроют.

Но настроив себя определенным образом, Ефим уже не мог думать ни о чем, кроме как о шапке. И решил сходить к Лукину.

Московское отделение Союза писателей вместе с центральным домом литераторов занимали два соединенных вместе здания и имели два входа — один с улицы Воровского, а другой, главный, с улицы Герцена — с большими двойными дверьми из резного дуба и с толстыми стеклами. Здесь располагались и кабинеты писательских начальников, и залы для публичных выступлений, концертов и киносансов, ресторан, бильярдная, парикмахерская и еще всякие мелкие заведения для разнообразного обслуживания писателей. Ефим прошел через главный вход и в просторном вестибюле был встречен двумя вечными служительницами Розалией Моисеевной и Екатериной Ивановной.

Здесь он часто бывал, вестибюльным дамам время от времени, а к Женскому дню всегда, дарил духи, шоколад и свои романы, поэтому обе приветствовали его очень радушно.

— Здравствуйте, Ефим Семенович!

— Здравствуйте, Ефим Семенович! Давненько вы у нас не были.

— Да, давненько, давненько, — снимая с Ефима дубленку, отозвался гардеробщик Владимир Ильич.

Принимая от гардеробщика номерок, Ефим увидел сидевших в дальнем углу за шахматным столиком двух дружков — своего нижнего соседа Василия Трёшкина и одного из секретарей Союза писателей Виктора Черпакова. Они в шахматы не играли, они о чем-то между собой толковали, тихо и напряженно. Они тоже заметили Ефима и, в ответ на его кивок, сами кивнули недружелюбно.

Ефим положил номерок в боковой карман пиджака, подхватил портфель и направился к лестнице, ведущей на второй этаж.

— Вот, — сказал Трёшкин, проводив Ефима долгим тяжелым взглядом. — У меня кот пропал, а ему шапку дают из кота. Как же это понять?

— Если мы будем ушами хлопать, они и из нас шапок наделают, — сказал Черпаков:

Это было продолжение темы, которую они начали еще в ресторане, а теперь продолжили здесь в уголке.

Черпаков не только не рассеял опасений Трёшкина насчет евреизации, но утверждал, что тот не преувеличивает, а преуменьшает степень повсеместного засилия евреев. По его словам, евреи уже распространились везде, захватили в свои руки командные посты не только в Америке и других западных странах, но фактически заправляют в Генеральном штабе, в КГБ и даже в Политбюро.

— Ну, насчет Политбюро, ты уж слишком, — усомнился Трёшкин. — Там сионистов нет.

— Сионистов нет, а масоны есть. А масоны управляют сионистами.

— Какое же от них спасение? — в ужасе спросил Трёшкин.

— Никакого, — ответил Черпаков. — Только что разве травить их по одному.

— По одному всех разве перетравишь! — вздохнул Трёшкин.

— Всех не перетравишь, но хотя б некоторых.

— Фимка, скажи честно, неужели ты своей Кукуше ни разу не изменял?

Они сидели в узком коридоре перед обитой темно-зеленым дерматином дверью Лукина. Ефим пришел по своему делу, а поэтесса Наталья Кныш надеялась получить характеристику для поездки в Португалию. Кныш была дамочка пухлая, сексапильная, говорила прокуренным голосом:

— Ты знаешь, что сказал Чехов о Короленко? Он сказал, что Короленко слишком хороший человек, чтобы быть хорошим писателем. Он сказал, что Короленко писал бы намного лучше, если б хоть раз изменил жене.

Ефим вежливо улыбался, но кокетничать был не настроен. Он думал, с какой стороны лучше подойти к Лукину, на что напирать, как добиться положительного разрешения дела.

Петр Николаевич Лукин был (и это значилось на вывеске — серебряные буквы на черном фоне) секретарем Московского отделения Союза писателей по организационным вопросам и относился к той породе людей, которая у нас уже вывелась. Где-то она еще существует и у нас тоже когда-нибудь возродится (я в этом, к сожалению, не сомневаюсь), но пока что, слава Богу, практически вымерла.

В Союз писателей Петр Николаевич, как Андрей Андреевич Щупов, как многие другие, был передвинут из органов, где прошел путь от рядового надзирателя

до генерала. Органы были его семьей, его домом, его школой, религией и идеологией. Всю свою жизнь и все здоровье он отдал органам. Он служил в органах, сажал от их имени, сам был ими посажен и ими же реабилитирован. После чего опять служил им верой и правдой, за что получил орден "Дружбы народов", нагрудный знак "Почетный чекист" и звание Заслуженный Работник Культуры, которое остряки, конечно, сократили и превратили в неприличную аббревиатуру ЗАСРАК.

И хотя сейчас он служил как будто по другому ведомству, он знал, что вся его жизнь, каждая клетка его тела, каждая частичка его души принадлежат только органам и еще, пожалуй, партии, впрочем, эти два понятия для него всегда сливались в одно.

Память у него была своеобразной, вернее, в голове его умещались две памяти: одна, полицейская, для текущих дел, а другая, генеральная, для охвата больших периодов и осмысления общего течения жизни. В молодости Петр Николаевич был романтиком, отчасти им и остался, его генеральная память была романтической. В ней сохранилась только смутная общая картина беспрерывного и жертвенного служения, а такие детали, как, например, то, что он сам лично, ради торжества высоких идеалов выбивал кому-то зубы и даже, что ему самому выбивали зубы с той же целью, ушли на задворки сознания и растворились в помутневших красках общего фона. Дело было не в том, кто кому чего выбивал, а в том, что при всех поворотах судьбы он никогда, ни разу, ни на минуту не усомнился в партии и органах, не усомнился в правоте "нашего общего дела". Теперь, по ночам страдая от мучавшей его бессонницы, он вспоминал свою жизнь, все стра-

дания и унижения, падения и возвышения, и со слезами умиления думал о том, что он никогда, никогда...

Партия оценила его преданность, органы тоже о нем пеклись, они устроили его на работу к писателям, и он, трудясь здесь в сложной, несходной с прежним опытом обстановке, рассматривал свою миссию как засылку во вражеский тыл.

Роста он был высокого, худощавый, подслеповатый, с лошадиным лицом и улыбкой, делавшей его похожим на французского актера Фернанделя. Улыбка не сходила с лица, потому что органы, вставляя ему казенные зубы, сделали их чуть длиннее, чем они должны были быть. Волосы у него были светлые с рыжиной, поредевшие, но до лысины не дошло, тронутые (но лишь слегка) сединой.

Отстраненный от оперативной работы, он нашел свое призвание здесь. Оно состояло в составлении казенных бумаг и оформлении их наиболее желательным образом. По существу в этих бумагах он никогда не писал неправду, но правду искажал до неузнаваемости. Он мог легко истолковать любое высказывание или действие, или движение души как попытку подрвать основы нашего строя, и изобразить это так, что уже можно зачитывать приговор. А в другом случае мог те же самые факты использовать для представления к ордену или записи в жилищный кооператив. Писатели его ценили за то, что он, умея составлять бумаги, сам не лез в писатели, а мог бы, потому что в своем жанре равных себе не знал и вообще был почти что гений.

Сидя перед глухой дверью, Ефим и подумать не мог, что там, внутри, уже идет некая работа, связанная с его появлением. Из железного сейфа вынута толстая

папка на букву "Р". А из нее извлечена тоненькая папочка с шифром 14/6. А в этой папочке всего несколько листков и, что ни листок, то — золото. Конечно, Петр Николаевич мог затребовать досье любого писателя в отделе творческих кадров, но ему это было не нужно. У него были свои записи, короткие, деловитые, основанные на доступных данных, донесениях собственных осведомителей и на личных наблюдениях тоже.

Всегда, прежде чем принять человека, Петр Николаевич заглядывал в свои записи и сейчас сделал то же. И вот что прочел:

Рахлин Ефим Семенович (Шмулевич) 23.7.27, ж. Кукушкина Зин. Иван. (д. пр. Кукуша), с. Тимофей — аспрнт. д. Наталья — Изр. др. № 2/14. е. у. в, 5 мед. 11 кн. 2 с. 1 п. мел. пуб. ЛТЦНП. пум. женеув. порнানেул. скрмн. скртн. безврд. Инт. шхмт. полпас. СВР (бдв). мстенук. бнвпрст.

Если расшифровать указанные сокращения, то они означали:

ж. — жена,

д. пр. — домашнее прозвище,

с. — сын,

аспрнт. — аспирант,

д. — дочь,

Изр. — Израиль,

др. — друг,

№ 2/14 — под этим номером числился у него в картотеке Баранов,

е. — еврей,

у. в. — участник войны,

5 мед. 11 кн. 2 с. 1 п. — 5 медалей, 11 книг, 2 сценария, 1 пьеса,

мел. пуб. — мелкие публикации,

ЛТЦНП — литературное творчество ценности не представляет,

пум. — пьет умеренно,

женев. — женщинами не увлекается,

порнанеул. — в порочных наклонностях не уличен,

скрмн. — скромн,

скртн. — скрытен,

бзврд. — безвреден,

Инт. шхмт. пол (пас) — интересуется шахматами, политикой (пассивно),

СВР (бдв) — слушает враждебное радио (без дальнейших выводов),

мстенук — может сотрудничать с тенденцией к уклонению,

бнвпрст. — благонадежен в пределах страны (то есть за пределы страны выпускать не следует).

Если же оценить эти данные в соответствии со специфической шкалой человеческих достоинств, принятой у Лукина, то получится примерно вот что:

ж. — фактор положительный, в кризисной ситуации можно действовать через ж.

д. пр. — говорит о склонности к добропорядочности и стабильной семейной жизни.

с. и д. — хорошо, предохраняет от необдуманных поступков.

аспрнт. — то же.

Изр. — почва для потенциальной неблагонадежности.

др. — возможный (в данном случае ненадежный) осведомитель.

е. — смотри Изр.

у. в. — неплохо.

11 кн. 2 с. 1 п. мел. пуб. — говорят о благополучии и отсутствии причин для неожиданных действий.

ЛТЦНП — в сочетании с предыдущим пунктом факт

положительный, не дает повода для излишних амбиций.

пум., женеув., порнaneул. — сочетание негативное, в случае чего не за что ухватиться.

скрмн. — хорошо, скртн. — тоже неплохо, если при этом бзврд.

Инт. шхмт. пол. (пас) — пускай.

СВР (бдв.) — хорошо. При необходимости можно использовать вместо порочных наклонностей.

мстенук — без крайней нужды вербовать не стоит. бнвпрст. — говорит само за себя.

Для того, чтобы встретить посетителя должным образом, Лукину необходимо было знать, для чего тот пришел, и он почти всегда это знал. Сейчас тоже знал. У него было сообщение директора производственного комбината, и сосед Рахлина сказочник Фишкин тоже сообщил Лукину кое-что.

К достоинствам Петра Николаевича надо прибавить то, что он был большим знатоком человеческих слабостей и талантливым лицедеем. Прежде чем пригласить Ефима, он снял с вешалки свое дорогое пальто с пыжиковым воротником и пыжиковую шапку и унес в примыкавшую к его кабинету кладовку. А оттуда вынес и повесил на вешалку плащ с ватинной подкладкой и синий берет с хвостиком.

После этого он выглянул в коридор и, увидев Ефима, изобразил неподдельное удивление и даже радость.

— А, Ефим Семенович! — закричал он как бы возбужденно. — Вы ко мне? Да что же вы тут сидите? Вы бы сразу постучались. Ну, заходите, заходите. Стоп, стоп, только не через порог.

Затащив Ефима в кабинет, он его сердечно обнял и даже похлопал по спине и огорошил вопросами, из

которых можно было понять, что он ни о чем, кроме как о Ефиме, не думает:

— Ну как здоровье? Как дела? Как Кукуша? Надеюсь, у Тишки в аспирантуре все в порядке? У меня, между прочим, внук тоже аспирант. В институте кинематографии. Замечательный парень. Спортсмен, альпинист, комсомольский вожак. Вот говорят, нет в наше время молодежи, преданной идеалам. А я смотрю на Петьку — его, кстати, так в честь меня называли, — и вижу, хорошая у нас молодежь, стоящая. Ну, бывают, конечно, и отклонения. — Генерал снял и протер платочком очки. — А как, к слову сказать, Наташка? Я понимаю, вопрос деликатный, но я не официально, не с агентурной — ха-ха — точки зрения, а как тоже отец и даже как дед... Надеюсь, она как-то устроилась, не бедствует там с семьей, всё в порядке?

Он, конечно, знал, что Ефим каждый вторник приходит на главный почтамт и, натянув шапку на глаза и отворачиваясь (непонятно, на что при этом рассчитывая), протягивает в окошечко свой паспорт с фотографией, на которой его лицо с выпученными еврейскими глазами ничем не прикрыто. Но Ефим, не зная, что Петр Николаевич знает, неуверенно сообщил, что ему, собственно говоря, о дочери мало чего известно, он связи с ней не поддерживает.

— Ну и напрасно, — сказал Петр Николаевич. — Сейчас не прежние времена, когда, понимаешь, наличие родственников за границей могло привести к неприятностям. У меня, кстати, когда случилась вся история, оказалась тетка в Аргентине... Да я о существовании ее даже не помнил. А мне записали: скрыл. Но теперь к подобным вещам отношение принципиально переменялось. Теперь каждый понимает, что наши дети, как бы они себя ни вели, есть наши дети, мы все равно о них

беспокоимся, устраиваем их в институты, в аспирантуры, достаем им ботинки, джинсы, перчатки, шапки... Да, извини, — перешел он незаметно на "ты", — ты ведь не просто так ко мне пришел. Наверное, какое-то дело.

Ефим замялся, заволновался. Ему показалось вдруг странным, что Петр Николаевич сам упомянул слово "шапки". Помявшись, он все же сказал, что именно о шапке и пойдет речь.

— О шапке? — удивленно поднял свои выцветшие брови Петр Николаевич.

— О шапке, — смущаясь подтвердил Рахлин и тут же стал сбивчиво и путанно объяснять, что он ходил в производственный комбинат, а человек, который там сидит... конечно, Ефим очень его уважает, возможно, он был ценный сотрудник органов, но все-таки работа с людьми творческого труда, как известно, требует некоторой особой деликатности и чуткого отношения, а он...

— Он отказал? — сурово нахмурился Петр Николаевич и схватился за телефонную трубку.

— Подождите, — остановил его Ефим и, еще больше волнуясь, стал объяснять, что тот не то, чтобы совсем отказал, но проявил бездушие и непонимание, и ему, автору одиннадцати книг, предложил кошку, когда даже Баранов, написавший за всю жизнь одну книгу, и тот получил кролика.

Пока он это говорил, Петр Николаевич стал поглядывать на часы и нажал тайную кнопку, в результате чего явилась секретарша и напомнила, что ему пора ехать на заседание в Моссовет.

Разговор принимал дурацкое направление. Петр Николаевич сказал, что сам он ни в каких шапках не разбирается и устремил долгий взгляд куда-то мимо

Ефима в сторону двери. Невольно скосив глаза в том же направлении, Ефим увидел висевший на вешалке плащ и синий потертый берет с коротким хвостиком посередине. Ему стало немного неловко, что он хлопчет о шапке, в то время когда такой хороший человек и генерал ходит в берете. А тот, не давая опомниться, тут же рассказал эпизод из своего боевого прошлого. Как, выбившись однажды из окружения, Лукин со своим отрядом блуждал по заснеженным Сальским степям, и все с ним были в рваном летнем обмундировании, в сбитой обуви и в хлопчатобумажных пилотках. И хотя Ефиму и самому в жизни приходилось попадать в разные переpleты, он, конечно, не мог не вспомнить, что в настоящее время он по заснеженным степям не блуждает и ночует не под промерзшим стогом, а в теплой кооперативной квартире, и, хотя он сюда явился без шапки, она у него все-таки есть.

И он уже готов был сдаться, но в это время в кабинет с лисьей шапкой в руке заглянул поэт-песенник Самарин, исполняющий обязанности партийного секретаря.

Холодно кивнув Рахлину, он спросил Лукина, пойдет ли тот обедать.

— Нет, — сказал генерал, взглянув на часы. — Меня ждут в Моссовете.

— Ну пока, — сказал Самарин и, выходя, взмахнул шапкой, отчего бумаги на столе Петра Николаевича шевельнулись.

И вид этой шапки поднял боевой дух Ефима, потому что Самарин, хотя и парторг, но поэт никудышный, и если уж судить по талантам или значению в литературе, то на лисью шапку никак не тянет.

Осмелев, Ефим напомнил Лукину, что на войне он

тоже побывал, а кроме того ему приходилось участвовать в различных героических экспедициях, а сейчас время мирное, люди должны свои возросшие запросы полностью и по справедливости удовлетворять. А какая может быть справедливость, если тому, кто отирается около начальства, дают превосходную шапку, а тому, кто ведет себя скромно и самоотверженно трудится над созданием книг о людях героических профессий, не дают ничего, кроме кошки?

— А где же, — сказал Ефим, — где же наше хваленое равенство? У нас же все газеты пишут о равенстве.

— Ну знаете! — Лукин возмущенно вскочил и всплеснул руками. — Ну, Ефим, ну это вы уж слишком. Из-за какой-то, понимаете, шапки, из-за какой-то паршивой кошки вон на какие обобщения замахнулись! Причем тут равенство, причем тут высшие идеалы? Неужели мы должны бросаться нашими идеалами ради какой-то шапки? Я не знаю, Ефим... Вы молоде меня, вы другое поколение. Но люди моего поколения... И я лично... Вы знаете, на мою долю многое выпало. Но я никогда, никогда не усомнился в главном. Понимаете, никогда, ни на минуту не усомнился.

Лукин весь побледнел, задрожал, трясущимися руками полез в боковой карман, вынул бумажник, достал из него маленькую пожелтевшую фотографию.

— Вот! — сказал он и бросил на стол перед Ефимом свой последний козырь.

— Что это? — Ефим взял карточку и увидел на ней изображение девочки лет восьми с большим белым бантом на голове.

— Это моя дочь! — взволнованно прошептал генерал. — Она была такая, когда меня взяли. Причем, между прочим, — он пожал плечами и улыбнулся смущенно, — я ушел совершенно без шапки. А когда через шесть лет

я вернулся, она... я имею в виду, конечно, не шапку, а дочку... она была уже большая. И даже замужем...

Он стер со щеки слезу, махнул рукой и со словами "Извините, мне пора" бережно положил карточку в бумажник, бумажник в карман и стал одеваться. Натянул на себя плащ, напялил на голову берет с хвостиком.

Ефим снова смутился. Сам себе он казался мерзким рвачом и сутягой. У него было даже такое чувство, что это из-за его меркантильных устремлений Петра Николаевича в свое время оторвали от маленькой дочки и увели без шапки в промозглую тьму.

Сгорбившись и пробормотав какие-то неопределенные извинения, Ефим прошаркал к выходу.

Только внизу он сообразил, что провел здесь довольно много времени — в центральном доме литераторов начиналась вечерняя жизнь. Открылись бильярдная и ресторан, в большом зале наверху телевизионная бригада расставляла аппаратуру для репортажа о встрече писателей с космонавтами, в нижнем малом зале собирались члены "клуба рассказчиков", в знаменитой "восьмой" комнате разбиралось персональное дело прозаика Никитина, напечатавшего в заграничном издательстве повесть "Из жизни червей", в виде червей клеветнически изображавшую советский народ. Сам Никитин утверждал, что под червями он имел в виду именно червей и действительно имел в виду червей, но ему никто, конечно, не верил.

Непрерывно хлопали стеклянные двери, Розалия Моисеевна и Екатерина Ивановна расплывались в лстивых улыбках перед входящими начальниками, вежливо приветствовали знакомых, а у незнакомых

требовали предъявления членских или пригласительных билетов.

Возле гардероба, натягивая дубленку, Ефим встретил вошедшего с мороза Баранова, тот был в темном пальто и в коричневой кроличьей шапке.

— Старик, — обрадовался другу Баранов, — смотри, я шапочку уже получил. А кроме того, сотнягу отхватил за внутренние рецензии, пошли в ресторан, угощаю.

— Нет настроения, — сказал Ефим, поднимая с полу портфель. — И повода тоже. Гонорара сегодня я не получал, а шапку мне дают из кота средней пушистости.

— Из чего? — не понял Баранов.

— Из обыкновенной домашней кошки, — объяснил Ефим. — Ты написал одну книгу, тебе дают кролика, а я написал одиннадцать и мне — кошку.

Этот разговор слушал одевавшийся перед зеркалом Василий Трёшкин, но ничего нового не узнал.

— Фимка, — сказал Баранов, — а что ты дуешься на меня? Я распределением шапок не занимаюсь. По мне пусть тебе дадут хоть из соболя, мне не жалко.

Ефим не ответил. Открыв рот, он смотрел на пробежавшего к выходу Лукина, на его пыжиковый воротник, на богатую шапку.

Ефим сперва растерялся, потом выскочил за Лукиным, желая его остановить, но не успел, персональная "волга" с сидящим в ней генералом, плюнув вонючим дымом, отчалила от тротуара. Ефим проводил ее отчаянным взглядом, переложил портфель из левой руки в правую и поплелся в сторону площади Восстания. Он шаркал по-стариковски подошвами своих гэдээровских сапог, оскорбленно всхлипывал и бормотал себе под нос: "Врешь! Все врешь! Сальские степи, дочь — все вранье! Ушел ей было восемь, пришел через шесть лет —

она замужем. Дурь! — прокричал он в пространство. — Сплошная дурь!”

Занятый своими переживаниями, Ефим не видел, что следом за ним идет, не упуская его из виду, поэт Василий Трёшкин, решивший изучить и понять загадочное поведение сионистов.

На Садовом кольце все светофоры были переключены на мигающий режим, движением руководили два милиционера в темных полушубках и шапках с опущенными ушами. Оба почему-то нервничали, держали на тротуаре скопившихся пешеходов, свистели в свистки и размахивали палками. Не понимая в чем дело, Ефим пробился вперед, но дальше не пускали, и он остановился прямо под светофором. Светофор равномерно мигал, и лысина Ефима равномерно озарялась желтым ядовитым сиянием.

Толпа у светофора сбилась совсем небольшая, но и в ней Трёшкин упустил Ефима. Ему даже показалось (и он бы не удивился), что сионист просто растворился в воздухе. Трёшкин занервничал, врубился в толпу, тут же увидел Ефима и обомлел. Он увидел, что сионист Рахлин, стоя у края тротуара, бормочет какие-то заклинания, а его лысина озаряется изнутри и испускает в мировое пространство желтые пульсирующие световые сигналы.

— ...аждане житесь ехода! — закричали вдруг поусторонние голоса. — Граждане, воздержитесь от перехода! — прозвучали они яснее.

Милиционер, стоявший недалеко от Ефима, отскочил в сторону, вытянулся неуклюже, поднес руку к виску. Налетели и понеслись мимо черные силуэты, воющие сирены, фыркающие моторы, шуршащие шины и летящий тревожный свет милицейских мигалок.

Ничего вокруг себя не видел Василий Трёшкин. Он

смотрел только на голову сиониста Рахлина и видел, как она светилась сначала желтым светом, потом вспыхнула синим и красным, и одновременно раздались страшные голоса.

Тут бы, конечно, самое время сиониста зацапать и передать в руки закона, но кому передашь, если проезжавшие правительственные лимузины передавали те же сигналы? Трёшкин вдруг испугался, схватился за голову и закрыл глаза. А когда открыл их, обнаружил, что сидит на обледенелом тротуаре, прислонившись спиной к шершавой стене, вокруг негусто толпится народ, а склонившийся милиционер вежливо спрашивает:

— Папаша, а папаша! Вы, папаша, извиняюсь, пьяный или больной?

Стоя под светофором, Ефим слышал, что кому-то в толпе стало нехорошо, достигли его уха голоса, обсуждавшие, вызвать ли скорую помощь или перевозку из вытрезвителя. В другое время Ефим посмотрел бы, что там случилось, очень он был любопытен до уличных происшествий. Но на этот раз не посмотрел, погруженный в собственные страдания, и побрел дальше, как только освободилась дорога. У метро Краснопресненская людской поток подхватил Ефима, втянул в подземелье и, сильно помятого, вынес наружу на станции Аэропорт.

Тем временем Трёшкин двигался к тому же конечному пункту совершенно иным путем. Оставленный милиционерами, он не пошел в сторону Пресни, а направился к Маяковской.

Вечер был холодный, небо чистое, но от городских огней оно казалось блеклым и желтым. Все же какие-то

звезды пробивались сквозь желтизну, перемещались в пространстве, перемигивались, намекали на что-то непонятное Трёшкину. Катили машины, торопились прохожие, а сколько среди них евреев и сколько жидомасонов, никому не известно. Так он шел, сосредоточенно думая, и вдруг на углу Большой Бронной и Садово-Кудринской его осенила гениальная мысль. "А что, — подумал Трёшкин, — если они так и так уже всё захватили, то, может, лучше сразу, пока не поздно, самому к ним податься?"

Дома Ефим поставил в угол портфель, сменил сапоги на тапочки и прошел в гостиную. Кукуша и Тишка ужинали перед телевизором и смотрели фигурное катание.

Ефим сел на диван и тоже стал смотреть, но ничего не видел, не слышал.

— Лысик, — спросила Кукуша, — ты ужинать будешь?

Он ничего не ответил.

— Лысик! — повысила голос Кукуша.

Он не слышал.

— Лысик! — закричала она уже нервно. — Я тебя спрашиваю: тебе пельмени с маслом или со сметаной?

— Одиннадцать, — ответил Ефим.

— Что одиннадцать? — не поняла Кукуша.

— Я восемнадцать лет в союзе писателей и написал одиннадцать книг, — сообщил Ефим. И, подумав, добавил. — А Баранов написал только одну.

Мать с сыном переглянулись.

— Лысик, — встревожилась Кукуша. — Ты часом не трёкнулся?

— Нет, — сказал Ефим, — я этого дела так не оставлю. Сдохну, а шапку свою получу.

Он вдруг вскочил, выскочил в коридор, вернулся со своей волчьей шапкой.

— Тишка, тебе, кажется, нравится моя шапка?

— Нравится. — Тишка проглотил последний пельмень и стал вытирать губы бумажной салфеткой.

— Ну так вот, — щедро сказал Ефим. — Я тебе ее дарю. — Он напялил шапку Тишке на голову. — Смотри, тебе идет.

— А ты будешь носить мою? — спросил Тишка. Он снял шапку, посмотрел на нее и положил на стул рядом с собой.

— Твою? — переспросил Ефим. — Свою ты можешь выбросить, она уже выносилась.

— А ты в чем будешь?

— А я себе получу, — сказал Ефим. — Сдохну, а своего добыюсь.

— Лысик, поешь. — Кукуша поставила на стол тарелку пельменей. — Садись сюда, кушай. И забудь ты про эту шапку. Это я во всем виновата. Я тебя подбила. Но ты забудь это. Бог с ней, с этой шапкой. Я тебе сама куплю такую, каких у ваших говенных писателей вообще нет ни у кого. Я тебе куплю... ну, хочешь, я тебе из серебристой лисицы куплю?

— Нет! — закричал Ефим. — Не вздумай! Я их заставлю! Вот Каретников приедет, я к нему пойду и...

Он махнул рукой и заплакал.

Ефим помешался. Я узнал это сначала по телефону от Баранова, потом от встреченного в Доме литераторов Фишкина. Пока я собирался позвонить Ефиму, ко мне утром, еще не было девяти, явилась Кукуша в блестящей от растаявших снежинок норковой шубе.

— Извини, что я без звонка, — сказала Кукуша.

— Но я не хотела, чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече.

— Ничего, — сказал я, — это неважно. Извини, что я в пижаме.

— Это как раз неважно. Кстати, очень хорошая пижама. Где достал?

— Сестра привезла из Франции.

— У тебя есть сестра во Франции? — удивилась Кукуша.

— Нет, сестра у меня в Ижевске. А во Францию ездила договариваться о чем-то с заводом Рено. Кофе будешь?

— Нет, нет, я на минутку. — И совсем другим тоном: — Мне нужна твоя помощь, ты должен спасти Ефима.

Я растерялся и спросил, в чем дело, от чего я должен его спасать.

— Трёкнулся, — сказала Кукуша. — Не ест, не пьет, не спит, не бреется, зубы не чистит. Он всегда Тишке готовил яичницу, теперь мальчик уходит в институт без завтрака.

— Ну, мальчику, кажется, уже двадцать четыре года и яичницу он мог бы...

— Дело не в яичнице, — перебила Кукуша, — а в Фимке. Он совсем на этой шапке заклинился. Он уже обошел все начальство в литфонде, в союзе писателей, и ему везде отказали. Теперь ходит, все время бормочет: "Я восемнадцать лет в союзе писателей, у меня одиннадцать книг, имею боевые награды". Я ему говорю: "Лысик, да что с тобой случилось, да забудь ты про эту шапку, да задержись она в доску". А он мне отвечает, что сдохнет, а шапку получит и все ждет своего Каретникова. Вот Каретников приедет, вот он вам покажет, вот он вас заставит, перед Каретниковым

вы все еще попляшете. А этот хренов Каретников, то он в Монголии, то в Португалии, я даже не знаю, когда он бывает здесь. О, Господи! — Она зашмыгала носом и полезла в карманчик за платком. — Это я, я во всем виновата. Я его толкнула бороться за эту вшивую шапку, а теперь не могу остановить. Я ему говорю, ну, Лысик, ну, дорогой, ну, пожалуйста, я тебе десять таких шапок куплю. Он говорит: "Нет, я восемнадцать лет в союзе, написал одиннадцать книг, имею боевые награды".

— Может быть, показать его психиатру?

— Может быть, — согласилась Кукуша. — Но, может, лучше и правда дождаться Каретникова. Если тот поможет... Но пока... Я к тебе для чего пришла... Сходи к Фимке, развлеки его как-нибудь, поговори по-дружески, спроси, что он пишет, когда закончит. Такой интерес на него всегда действует хорошо.

Я посетил Ефима и нашел его точно таким, каким его описала Кукуша. Он меня встретил в мятом спортивном костюме с дырой на колене, худой, всклокоченный, лицо до самых глаз заросло полуседой щетиной.

— Здравствуй, Ефим! — сказал я.

— Здравствуй.

Загородив собою дверь, он смотрел на меня, не выражая ни радости, ни огорчения.

— Ну, может быть, ты меняпустишь внутрь, — сказал я.

Он вошел следом.

— Можно сесть? — спросил я.

— Садись, — пожал он плечами.

Я сел в кресло в углу под оленьими рогами, он остановился передо мной.

— Я приехал к глазнику, — сказал я, — и вот решил заодно тебя навестить.

Он слушал вежливо, грыз черный ноготь на мизинце, но интереса к общению со мной не проявил. Я рассказал ему массу интересных вещей. Рассказал о хулиганстве детского писателя Филенкина, который в доме творчества выплеснул свой суп в лицо директора. Ефим вежливо улыбнулся и, покончив с мизинцем, принялся за безымянный палец. Ни расовые волнения в Южной Африке, ни перестановки в кабинете Маргарет Тэтчер его тоже не заинтересовали.

Я предложил ему перекинуться в шахматы, он согласился, но уже расставляя фигуры, перепутал местами короля и ферзя, а партию продул в самом дебюте, хотя вообще играл гораздо сильнее меня.

Мы начали новую партию, и я спросил его, как развивается "Операция".

— Я восемнадцать лет член союза писателей и написал одиннадцать книг, — сообщил Ефим и подставил ферзя.

Возможно, он доложил бы и о своих боевых наградах, но тут зазвонил телефон. Я переставил ефимова ферзя на другую клетку, а своего, наоборот, подставил под удар.

— Что? — закричал вдруг Ефим. — Приехал? Когда? Хорошо, спасибо, будь здоров, вечером перезвонимся.

Он бросил трубку, повернулся ко мне, и я увидел прежнего Ефима, хотя и небритого.

— Ты слыхал, — сказал он мне весьма возбужденно. — Баранов звонил, говорит, приехал Каретников.

Не могу даже описать, что дальше было с Ефимом. Он вскакивал, бегал по комнате, размахивал руками, бормотал что-то вроде того, что кто-то у него теперь попляшет, потом вернулся к шахматам, объявил мне

мат в четыре хода и, посмотрев на часы, намекнул, что мне пора к доктору.

Я ушел, радуясь, что Ефим так быстро вышел из своего состояния, хотя моей заслуги в том не было.

Дальнейшее мне приходится описывать отчасти со слов самого Ефима, отчасти, полагаясь на противоречивые свидетельства других участников этой истории.

После моего ухода Ефим умылся, побрился, почистил и поставил на место зубные протезы. В перерывах между этими процедурами звонил и в конце концов дозвонился. Жена Каретникова Лариса Евгеньевна начала было говорить, что Василий Степанович нездоров и никого не принимает, но тут в трубку влез голос мнимого больного.

— Фимка! — загудел он. — Не слушай ее, хватай такси и чтоб через пять минут был здесь. Да рукопись захвати.

Каретников жил в высотном доме на площади Восстания.

Дверь Ефиму открыла Лариса Евгеньевна с жирно намазанным кремом лицом, в халате и в папильотках.

— Ну заходи, раз пришел, — сказала она не очень приветливо. — Василий Степанович ждет. Во фраке.

Ефим прошел по длинному коридору мимо домработницы Нади, которая, стоя на шаткой стремянке, шваброй сметала обнаруженную под потолком паутину. Надя была в коротком перепоясанном ситцевом халатике.

— Здравствуйте, Наденька, — дружески поздоровался Ефим, но лицо опустил и отворотил в сторону.

Дверь в кабинет Василия Степановича распахнулась и сам хозяин явился Ефиму в длинных футбольных трусах и в майке, прожженной на большом животе. Он

втащил Ефима вовнутрь, закрыл и прижал плечом дверь.

— Принес? — спросил он громким шёпотом.

— Принес, — сказал Ефим и вытащил из портфеля не рукопись, а чекушку.

— И это все?

— Есть и второй том, — улыбнулся Ефим и, приоткрыв портфель, показал — вторая чекушка лежала на дне.

— Вот молодец! — одобрил Василий Степанович, срывая пробку зубами. Жонглерским движением покрутил бутылку, водка запенилась и завинченной струей потекла в раскрытую жадно пасть.

Отпив таким образом примерно треть, хозяин ухнул, крикнул и спрятал бутылку на книжной полке за "Капиталом" Маркса.

— Молодец! — повторил он, отдуваясь. — Вот что значит еврейская голова! Я почему против антисемитизма? Потому что еврей в умеренном количестве полезный элемент общества. Вот, скажем, в моем журнале я — русский, мой заместитель русский, это правильно. Но ответственного секретаря я всегда беру еврея. У меня прошлый секретарь был еврей и теперешний тоже. И когда мне в ЦК пытались подсунуть вместо Рубинштейна Новикова, я им сказал: дудки. Если вы хотите, чтобы я продолжал делать настоящий партийный литературный журнал, вы мне моих евреев не трогайте. Я вот уже тридцать шесть лет редактор, все пережил, но даже во времена космополитизма у меня где надо всегда были евреи. И они всегда знали, что я их в обиду не дам. Но и от них я требую верности. Я Лейкина к себе вызвал, стакан водки ему поставил: "Ну, Нёмка, говорю, если ты на историческую родину поглядываешь, то от меня мотай по-хорошему не мень-

ше, чем за полгода до подачи. Надуешь, ноги вырву, спички вставляю и ходить заставляю”.

Большой, грузный, Василий Степанович ходил по комнате, заложив руки за спину, выпятив живот, и говорил заплетающимся языком. Иногда в местах своей речи, казавшихся ему особенно удачными, хлопал себя по ляжкам и взвизгивал. Перескочив с одной темы на другую, спросил Ефима, не видел ли тот его статью.

— Где? — быстро спросил Ефим.

— Ты что же, милый друг, ”Правду” не читаешь? — спросил Василий Степанович не без ехидства. — Видишь, как я тебя подловил. Ну-ну-ну, не бойся, не продам. Вот, — схватил он со стола газету и сунул Ефиму. — ”Всегда с партией, всегда с народом”. Хорош заголовок?

— Мм-м, — замялся Ефим.

— Мму! — передразнил Каретников, замычав по-коровьи. — Не мучайся и не мычи, я и так вижу, что морду воротишь. Название не фонтан, но зато просто и без прикрас. Всегда с партией, всегда с народом. Всегда с тем и с другим. А не то что там... — Не закончив своей мысли, он застонал, подбежал к двери и, схватив самого себя за уши, трижды головой, как посторонним предметом, стукнул в притолоку. — Ненавижу! — прорычал он и заскрипел зубами. — Ненавижу, ненавижу и ненавижу! — Набычился злобно на Ефима. — Ты думаешь, кого ненавижу? Знаешь, но боишься подсказать. — Власть нашу, любимую, советскую... нне-на-вижу. — И опять стукнулся лбом об стену.

Размахивая руками, стал ходить вокруг Ефима и бормотать, словно бы про себя.

— Вот она человеческая неблагодарность. Власть мне все дала, а я ее ненавижу. Без нее я бы кто был? Ни-

кто. А с ней я кто? Писатель! Писатель-депутат, писатель-лауреат, писатель-герой, выдающийся писатель Каретников! А из меня, — остановился он напротив Ефима, — такой же писатель, как из говна пуля. Писатель Васька Каретников. А Ваське быть бы по торговой части, как дедушка Тихон. Тихон Каретников, кожевенные и скобяные товары. Два собственных парохода на Волге имел. А папашку моего Степана Тихоновича за эти-то пароходы и шлепнули. А я в детдоме себе происхождение подправил на крестьянское, да в газете "Молотобоец" стал пописывать под псевдонимом Бывалый. Послал Горькому свой рассказ "На переломе", а тот сдуру его в альманах. Ах, суки, загубили вы Ваську Каретникова, сделали из него писателя. Ненавижу! — и хотел стукнуться в притолоку, но, потрогав лоб, воздержался.

— Василий Степанович! — озабоченно прошептал Ефим и пальцем показал на потолок.

— Думаешь, там микрофоны? — понял Каретников. — Ну, конечно, там они есть. А я на них положил. Потому что то, что я здесь говорю — неважно. Все знают: Каретников алкаш, чего с него возьмешь. Важно то, что я говорю не здесь, а публично. А здесь что хочу, то говорю. Тем более, что обидели, суки. Обещали протолкнуть в академики меня, а протолкнули Шушугина. Академик Шушугин. А академик вместо слова "пиджак" "спенжак" пишет, вот чтоб я с этого места не встал. А его в академики. А я обижен. И все понимают, что я обижен и поэтому могу ляпнуть лишнего. Но только дома, потому что партия от нас требует преданности, а не принципов. Когда можно, я ее ненавижу, а когда нужно, я ее солдат. Ты писатель и должен понимать разницу между словами "можно" и "нужно". Я делаю то, что нужно, и поэтому мне кое-

что можно, а ты того, что нужно, не делаешь, значит тебе можно намного меньше, чем мне. Понял, в чем диалектика? Дай-ка еще глотну!

Василий Степанович сел в кожаное кресло и закрыл глаза. Пока Ефим доставал из-за Маркса бутылку, пока приблизился к Каретникову, тот заснул.

Ефим сел напротив, держа бутылку в руках. Время текло. Часы в деревянном футляре отбили половину двенадцатого. Ефим озирался по сторонам, разглядывая комнату. Стол и кресло старинной работы, современные книжные полки, заставленные собраниями сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и генсека. Впрочем, генсек стоял на первом месте. Когда-то здесь стояли тома Сталина, потом Хрущева. Потом Хрущев исчез, а Сталин опять появился. А сейчас его опять не было, должно быть, задвинут туда, во второй ряд. А на его месте стоит четырехтомник Густава Гусака. Значит, — так подумал Ефим, — в отношении партии к Сталину ожидаются какие-то перемены.

Наконец, Каретников открыл один глаз и недоуменно навел его на Ефима. Затем открыл второй глаз.

— Сколько времени? — спросил он.

— Четверть второго, — ответил Ефим шёпотом, как бы всё еще боясь его разбудить.

Каретников протянул руку.

— Дай!

Отхлебнул из бутылки, но без прежней жадности, покривился и потряс головой.

— Ну, выкладывай, зачем пришел. Что хочешь: дачу, машину, путевку в Пицунду, подписку на журнал "Америка"?

— Да нет, — улыбнулся Ефим, всем своим видом показывая, что его притязания гораздо скромнее и выглядят по существу пустяком, из-за которого,

право, даже неловко беспокоить столь крупного человека.

— Говори, говори, — поощрил Василий Степанович.

Наконец, Ефим собрался с духом и изложил суть своей просьбы сбивчиво и бестолково. Василий Иванович слушал его внимательно, после чего еще отхлебнул из бутылки и посмотрел на Ефима поновому.

— Значит, — уточнил он протрезвевшим голосом, — ты дачу не просишь, машину не хочешь, в дом творчества не собираешься, журнал "Америка" тебе не нужен, тебе нужна всего-навсего только шапка. Причем, не какая-нибудь. Из кошки тебя не устроит. Нет? А из кролика тоже нет?

Ефим улыбнулся и скромно потупился.

— Ну да, — повторил Каретников благожелательно. — Всего-навсего шапку. Из кошки не годится, из кролика не идет. Может, тебе боярскую шапку? Может, соболью? Да ты что! — вдруг закричал он, вскочив и хлопнув себя по ляжкам. — Ты кого за дурака держишь, себя или меня? Ты, может быть, думаешь, что ты умная еврейская голова, а я пальцем деланный и щи лаптем хлебавший. Ты думаешь, что дачу попросить это много, а шапку — ничего. Врешь! — закричал он так громко, что Ефим невольно попятился.

— Василий Степанович, — пробормотал Ефим, испугавшись, — да что это вы... Да как же... Да я просто не понимаю.

— Врешь! — повторил Василий Степанович решительно. — Все врешь и все понимаешь. Ты не хуже меня знаешь, что тебе не шапка нужна, шапку ты у какого-нибудь барыги за сотню-другую можешь купить не хуже. Тебе не это нужно. Тебе нужно другое. Ты хочешь дуриком в другую категорию, в другой класс пролезть.

Хочешь, чтобы тебе дали такую же шапку, как мне, и чтобы нас вообще уравнили. Тебя и меня, секретаря Союза писателей, члена ЦК, депутата Верховного Совета, Лауреата Ленинской премии, Вице-Президента Всемирного Совета мира. Так? Та-ак, — с удовольствием ответил сам себе Каретников. — Именно. Умный ты, я вижу, чересчур даже умный. Ты будешь писать о хороших людях, будешь делать вид, что никакой такой советской власти и никаких райкомов-обкомов вовсе не существует и будешь носить такую же шапку, как я? Дудки, дорогой мой. Если уж ты хочешь, чтоб нас действительно уравнили, то ты и в другом равенства не избегай. Ты, как я, пиши смело, морду не воротя: "Всегда с партией, всегда с народом". Да посиди лет десять-двадцать-тридцать с важной и кислой рожей в президиумах, да произнеси сотню-другую казенных речей, вот после этого и приходи за шапкой. А то, ишь чего захотел! Шапку ему дайте получше. А с какой это стати? Ты вот мне, небось, завидуешь, что за границу езжу и тряпки всякие привожу. Это ты только одну сторону моей жизни видишь. А того еще не видишь, что я помимо тряпок еще там за мир во всем мире, ети его налево, борюсь. Ты вот тоже в турпоездке в Париже был. Тебе там вопросы задавали? Задавали. А ты что отвечал? Ты отвечал, что политикой не интересуешься, географией тоже, и где находится Афганистан, точно не знаешь. А мне так крутиться нельзя. Я не могу сказать, что политикой не интересуюсь. На вопросы должен отвечать прямо, прямо и отвечаю. Что я думаю об Афганистане? Думаю, что этих душманов надо давить. Что думаю о политзаключенных? Думаю, что политзаключенные есть в Южной Африке, в Чили и на Гаити. А у нас есть уголовники и сумасшедшие. Думаешь, мне приятно это говорить? Нет, очень даже пренеприят-

но. Я тоже хочу улыбаться и чтобы мне улыбались. Тоже хочу писать о хороших людях. Тоже хочу делать вид, что в политике и географии не разбираюсь. Ты думаешь, ты против советской власти не пишешь, а мы тебе за это спасибо скажем? Нет, не скажем. Нам мало того, что ты не против, нам надо за. Будешь бороться за мир, будешь, как я, писать о секретарях обкомов-райкомов, тогда все получишь. Простим тебе, что еврей, и дачу дадим, и шапку. Хоть из пыжика, хоть из ондатры. А тому, кто уклоняется и носом воротит, вот на-кася выкуси! — И поднес к носу Ефима огромную фигу. Он сделал этот грубый жест, не задумываясь. Даже не предполагая, что из него могут произойти какие-нибудь последствия. Да будь это в другой раз, их бы и не было. Но тут... Ефим потом и сам не мог понять, как это произошло. Увидев перед собой фигу и услышав "На-кася выкуси", Ефим сначала слегка отпрянул, а потом качнулся вперед и, как собака, тяпнул Каретникова за большой палец, прокусивши его до кости.

Это было так неожиданно, что Василий Степанович даже не сразу почувствовал боль. Он отдернул руку, посмотрел на Ефима, посмотрел на палец и вдруг завыл, закружился как полоумный по кабинету, тряся рукою и брызгая кровью на персидский ковер.

На вой прибежала в папильотках Лариса Евгеньевна. С тряпкой в руках появилась домработница Надя.

— Что случилось, Вася? — тонким голосом прокричала Лариса Евгеньевна, кидаясь к Каретникову.

— У-у-у-у! — выл Каретников, как паровоз, и тряс истекающей кровью конечностью.

— Фима! — Лариса Евгеньевна повернулась к Ефиму.

— Я не могу понять, что случилось!

Фима, как потом говорили, казался совершенно

спокоен. Он взял с полки чекушку, допил остатки, поднял с полу незастегнутый портфель и вышел.

Мне кажется, что этим укусом Ефим сам себе нанес новое и уже непоправимое психическое повреждение. Прямо от Каретникова прикатил он ко мне радостно возбужденный.

— Знаешь, что случилось? Как? Ничего еще не слышал?

Он мне тут же изобразил все происшествие словами и в лицах. Как он пришел, в каком виде нашел Каретникова, как тот, держа себя за уши, стучался головой об стенку. Кстати сказать, это стуканье Ефим изобразил так смешно, что я просто валялся от хохота. Он же сдержанно улыбался и, похоже, был очень собою доволен.

— Мне что, — стоя передо мной в распахнутой настежь дубленке, он взмахивал отяжеленными ею руками и ёрничал. — Я человек простой Мне говорят: на-кася выкуси, я выкусываю. А как же! Если меня очень просят, разве мне жалко? У меня зубы хорошие, фарфоровые, с меня Аркаша Глотов за них четыре сотни содрал. Если надо кому выкусить, пожалуйста, я не против.

Я смотрел на него с любопытством: надо же, всегда был такой запуганный, а тут размахался! Не веря в то, что человек под воздействием внешних обстоятельств может меняться столь кардинально, я думал, что это — временная бравада, которая кончится потом истерикой. Или выплыли наружу какие-то черты характера, которые прежде не проявлялись? Или проявлялись иначе? Ведь бывал же он в рискованных ситуациях со своими мужественными людьми, тонул в полынье, валился в пропасть, горел на нефтяной скважине!

— Ефим, — сказал я ему, — ты человек взрослый, я не хочу тебя пугать, но ты должен знать, что Каретников человек очень плохой и очень злопамятный. Если ты сейчас же с ним не помиришься...

— Ни за что! — прокричал Ефим.

— Но ты понимаешь, что он тебе этого никогда не простит?

— А я никакого прощения и не жду. Мне надоели унижения, надоело быть хорошим человеком второго сорта. У меня есть другие планы.

— Другие планы?

— Ну да. — Он с сомнением осмотрел все четыре стены, задержал взгляд на люстре. — Как ты думаешь, у тебя квартира прослушивается?

Я пожал плечами.

— Откуда мне знать, прослушивается она или нет?

Он попросил меня вынести телефон в другую комнату или набрать пару цифр и заклинить диск аппарата карандашом.

Я в такие уловки, правду сказать, не верил и не думал, что подслушивалки обязательно должны быть в телефонах.

— Знаешь, что, — сказал я. — Погода хорошая, почему бы нам не пройтись?

Мы спустились вниз. Ефим, зажав между ног портфель, натянул кожаные перчатки, поднял воротник и его желтая лысина, окаймленная коричневым мехом, стала похожа на тыкву, вылезающую из хозяйственной сумки. Дворами мы прошли к Сытинскому переулку, а оттуда выбрались на Тверской бульвар. День был приятный, солнечный. Накануне выпавший снег мягкой пеной светился на кустах и клумбах. По расчищенной широкой дорожке гуляли голуби, бежали школьники, молодой папаша неспешной рысью тащил салазки с

укутанным по глаза ребенком, все скамейки были заняты шахматистами, старухами и приезжими с авоськами и мешками.

Мы медленно двинулись в сторону Никитских ворот и сначала говорили о чем-то, не помню, о чем, а потом Ефим оглянулся и, дав пройти и отдалиться двум офицерам с портфелями, понизив голос, спросил, нет ли у меня знакомых иностранцев, через которых можно переправить на Запад рукопись.

Иностранцы у меня знакомые были, но я этих связей особо не афишировал, потому что через них сам давно уже пересылал кое-что "за бугор" и печатал под псевдонимом, которого не знал никто, кроме моей жены. Не отвечая ни да, ни нет, я спросил, какую именно рукопись он имеет в виду. Оказывается, ничего готового у него пока нет, но ему надо знать заранее, через кого можно передать и как. Прямо в машинописном виде или переснять на пленку.

— Лучше переснять, — сказал я. — С первого экземпляра и по одной странице на кадр. Иначе у тех, кто возьмется перепечатывать, будут трудности. А все-таки, что ты хочешь передать?

— Ты знаешь, что я пишу роман "Операция"? — Он посмотрел на меня и все понял. — Ну да, конечно, ты думаешь, что я пишу о хороших людях, которые никому не нужны. Но это не о хороших, это о плохих людях.

И он мне рассказал историю, которая легла в основу его замысла. В подлинном виде она от замысла несколько отличалась. Случай с доктором, делавшим самому себе операцию, действительно имел место. Только случилось это не посреди океана, а вблизи канадского берега. Больного доктора можно было доставить в одну из береговых больниц, но, во-первых, за операцию надо платить огромные деньги в иностран-

ной валюте, а во-вторых, как раз в последнее время доктор проявлял признаки неблагонадежности — рассказывал антисоветские анекдоты, под подушкой у него нашли книгу Авторханова "Технология власти", и вообще не было никакой гарантии, что он не сбежит. Поэтому капитан Колотунцев (прототип Коломийцева) отдал приказ идти не к канадскому берегу, а к Курильским островам. По пути к этим островам доктор в отчаянии и сделал себе операцию, после которой он уже никаких романсов не слушал, поскольку умер.

— Скажи, — торопил меня с ответом Ефим, — им, на Западе, такая история должна же понравиться? Если название скучное, могу придумать что-то другое. Например, "Харакири"? А? Здорово? Если нужно, можно разбавить сексом. У нас на корабле, между прочим, была одна повариха, она жила со всем экипажем.

— Повариху не надо, — сказал я, — лучше повара. На Западе любят больше про гомосексуалистов.

— Это правильно, — серьезно сказал Ефим. Он остановился, достал из портфеля большой блокнот и, держа в зубах перчатку, сделал соответствующую запись. — Между прочим, у нас там действительно был один педик, но не повар, а штурман. Причем жил он, не поверишь, с первым помощником.

— А помощник был кто?

— На кораблях первым помощником называется замполит, — объяснил он, не уловив скрытого в моем вопросе ехидства.

— Значит, их было два педика?

— Почему ты так думаешь? — вскинулся он.

— Я ничего не думаю, а слушаю. Ты сам сказал, что штурман был педиком и жил с замполитом. А замполит кто был?

— Вот чёрт! — ахнул Ефим и дернул портфелем. — Надо же! Такая ерунда, а я до нее не додумался. Потому что я, знаешь, старался обращать внимание на другие детали. Постой-ка! — Он опять полез в портфель за блокнотом. — Вот дурак-то! Так все просто, а я не подумал.

То, что он не подумал, меня как раз несколько не удивило. Он всегда был не в ладах с логикой, и его сочинения были полны несуразностей, которые могли пройти только у нас. О чем я Ефиму на этот раз вполне откровенно сказал. А еще сказал так.

— Ну, допустим, ты напишешь такой роман. Впервые, когда это еще будет...

— Я пишу быстро, ты это знаешь, — перебил он.

Мы дошли до конца бульвара и, собираясь повернуть, остановились у стенда с областными газетами. Приезжий в длинном полупальто и темных валенках с галошами, упираясь глазами в "Воронежскую правду", зубами отрывал от длинного батона большие похожие на вату куски и заглатывал. В другой руке он держал авоську тоже с батонами.

— Допустим, даже напишешь быстро. И его там напечатают. Но еще неизвестно, будет успех или нет, а здесь ты все потеряешь. Конечно, если ты намылился в Израиль...

— Ни в коем случае! — резко возразил он. — Я за эту землю, — сказал он напыщенно, — кровь проливал. Я останусь здесь, я буду бороться, драться, кусаться, но унижать мое человеческое достоинство не позволю. До чего обнаглели, шапку и то не дают. Ты сколько книг написал: две? три? Но ты же ходишь в шапке, а я одиннадцать и вот! — Он так хлопнул себя по лысине, что приезжий вздрогнул, повернулся всем корпусом и стал нас разглядывать с куском батона во рту.

— Это я не вам, — сказал ему Ефим и сконфузился.

На обратном пути я объяснил Ефиму, что написал не две и не три книги, а шесть, что для литературоведа немало, а мою козлиную шапку мне никто не давал, я ее сам купил в позапрошлом году на кутаисском базаре.

— А у тебя, — сказал я, — шапка была получше моей, но ты ее отдал Тишке.

— И что же ты мне советуешь? Забрать шапку назад? — Ефим остановился и, крутя портфель, смотрел на меня с интересом.

Я ему посоветовал, прежде чем совершать те или иные поступки, подумать о возможных последствиях.

— Спасибо, — поблагодарил он меня иронически и, отвернув рукав дубленки, посмотрел на часы. — Извини, мне пора.

Он холодно протянул мне руку в перчатке и, еще глубже втянув голову в воротник, быстро пошел в сторону Пушкинской площади.

Я вернулся домой в расстроенных чувствах и позвонил Баранову.

— Ваш друг, — сказал я, — по-моему, совсем с панталыку сбился.

— Ну да, — согласился Баранов, — у него депрессия. Я же вам говорил.

Я возразил, что у Ефима не депрессия, а наоборот, эйфория, которая кончится плохо.

— А в чем дело?

Оказывается, он еще ничего не знал.

Понятно, нашего с Ефимом разговора на Тверском бульваре я по телефону передать не мог, но рассказал об укушенном пальце.

По-моему, Баранов был потрясен.

— Ефим укусил Каретникова? Ни за что не поверю. Не поверив, он позвонил Ефиму, а потом перезвонил мне.

— Я с вами согласен, дело дрянь, но я Фимку поздравил.

— С чем же?

— Укус Каретникова — это самое талантливое, что он сделал в литературе.

Не успел я положить трубку, раздался новый звонок. На этот раз звонил Ефим.

— События развиваются! — прокричал он торжествуя.

Я заинтересовался, как именно они развиваются.

Оказывается, до Ефима уже дошел слух, что Каретников сразу после укуса звонил некоему члену Политбюро, с которым был дружен еще с войны, и тот, выслушав, сказал будто бы так: "Не беспокойся, Василий Степанович, мы этого дела так не оставим. Мы не позволим инородцам избивать наши национальные кадры".

— Ты представляешь! — кричал Ефим. — "Мы не позволим инородцам". То есть евреям. Значит, если русский укусит Каретникова, это еще ничего, а еврею кусаться нельзя.

Я осторожно заметил Ефиму, что это, может быть, только слухи, член Политбюро вряд ли мог бы себе позволить такое высказывание и вообще по телефону об этом трепаться не стоит.

— А мне все равно, — дерзко сказал Ефим. — Я говорю, что думаю, мне скрывать нечего.

Тут уж я разозлился. Всегда он был осторожный, всегда говорил такими намеками, что и понять нельзя. А теперь ему, видите ли, скрывать нечего, а то, что,

может быть, другим есть чего скрывать, это его уже не заботит.

Слух о зловещем высказывании члена Политбюро быстро рассыпался по Москве, и отношение к Ефиму людей на глазах менялось. Некоторые его знакомые перестали с ним здороваться и шарахались, как от чумы, зато другие, затискивая его куда-нибудь в угол, поздравляли и хвалили за смелость. Сам Ефим тоже переменялся. Я слышал, что в те дни, общаясь с разными людьми, он много говорил о ценности человеческого достоинства и замечал (иногда ни с того, ни с сего), что гражданское мужество встречается гораздо реже, чем физическое, и даже приводил примеры из жизни мужественных людей, которые в экстремальных условиях могут проявлять чудеса героизма, а в обычной жизни ведут себя весьма послушно и робко.

Тем временем начал действовать до деталей отработанный, но загадочный механизм отторжения. Сначала в издательстве "Молодая гвардия" Ефиму сказали, что его книга в этом году не выйдет, потому что не хватает бумаги. Со студии Ленфильм, куда его вызывали для обсуждения сценария, позвонили сообщить, что обсуждение временно отменяется. На радио, где должны были передавать отрывки из "Лавины", передача не состоялась, ее заменили беседой о вреде алкоголизма. А когда даже из "Геологии и минералогии" ему вернули написанную по заказу статью, Ефим понял, что дело серьезно. Однако держался по-прежнему воинственно. Больше того, он сам решил первый перейти в контратаку и однажды вечером взялся за письмо в ЦК КПСС о процветающих в союзе писателей явлениях коррупции, кумовства и чинопочи-

тания, которые отражаются на тиражах книг, на отзывах прессы, на распределении дач, зарубежных командировок, путевок в дома творчества и даже на качестве шапок. Письмо как-то не складывалось, получалось длинно, натужно и скучно. Тогда он решил написать фельетон с расчетом послать его в "Правду". Заложил лист бумаги, написал название фельетона "По Сеньке и шапка".

Начал он как-то по-гоголевски: "Знаете ли вы, что значит по Сеньке шапка? Нет, вы не знаете, что значит по Сеньке шапка. Вы думаете, что Сеньке дают шапку в соответствии с размером его головы? Нет, дорогой читатель, Сеньке дают шапку в соответствии с чином. Для того, чтобы получить хорошую шапку, Сенька должен быть секретарем союза писателей или по крайней мере членом правления. Сенькины шансы возрастают, если он крутится возле начальства и состоит в партии, сенькины шансы уменьшаются, если он беспартийный и к тому же еврей...

Само собой поставилось многоточие и возникла мысль, что насчет еврейства лучше как-то потоньше, лучше, допустим: "если он беспартийный и имеет изъян в определенном пункте анкеты..."

Тут зазвонил телефон и по звонку было ясно — Баранов.

— Привет, старик, — сказал Баранов. — В воздухе беспокойно.

— Что? — не понял Ефим.

— Наблюдается некоторое волнение.

Ефим бросил трубку, включил радио, стал крутить ручку настройки в поисках "Немецкой волны". Нашел, но "Волна", заканчивая передачу, повторила краткое изложение новостей, в которых ничего интересного для Ефима не было. По Би-Би-Си шел концерт джазовой

музыки, а на частоте "Голоса Америки" стоял сплошной вой глушилок. Ефим схватил приемник и стал бегать с ним по комнате, вертя его так и сяк, то прикладывая его к батарее отопления, то переворачивая вниз антенной. Он дважды стукнул приемником о колено, иногда помогало и такое. Сейчас не помогло. Но и время было не совсем удачное — без четверти девять. Ефим выключил приемник, но в девять часов включил его снова. На этот раз "Голос" звучал почти совсем чисто. Ефим выслушал сообщение о новых американских предложениях по сокращению ракет средней дальности, о напряженности в Персидском заливе, о возросшей активности афганских повстанцев, о необычайных ливнях на Филиппинах и вдруг:

— Западные корреспонденты передают из Москвы, что по сведениям из достоверных источников, ведущий советский писатель Ефим Рахлин совершил покушение на управляющего союзом писателей Василия Карелина. Причина покушения неизвестна, но наблюдатели полагают, что в нем, возможно, отразилось недовольство советских писателей отсутствием в Советском Союзе творческих свобод.

— Кукуша! — крикнул Ефим. — Кукуша! — завопил уже вовсе нетерпеливо.

— Что случилось? — вбежала перепуганная насмерть Кукуша.

— Случилось! Случилось! — Ефим был необычайно возбужден и, указывая на приемник, сообщил короткими фразами: — Они. Только что. Обо мне. Говорили.

— Что говорили? — не уловила Кукуша.

— Они сказали: "ведущий советский писатель Ефим Рахлин". А еще называли Каретникова, но даже фамилию

его переврали. Ты представляешь, ведущий советский писатель Ефим Рахлин!

Кукуша смотрела на мужа серьезно, его радости явно не разделяя.

— Лысик, — сказала она тихо, но твердо, — если тебя загонят в Мордовию, запомни, я за тобой туда не поеду.

Ефим растерялся. Он никогда не готовился к тому, чтобы быть загнанным в Мордовию и не собирався тащить туда же Кукушу. Но все же ему хотелось знать, что если вдруг когда-то такое случится...

Он еще не нашел, что ответить, когда вошел Тишка с волчьей шапкой в руках.

— Папан! Если ты не остановишься, мне придется или от тебя отказаться, или просить у Наташки вызов в Израиль.

Тишка положил шапку на стул и вышел.

Ефим опустил на диван и долго сидел, ладонями сжимая виски.

— Ну что ж! — тихо сказал он и улыбнулся. — Сын от меня откажется, жена за мной не поедет, она привыкла жить в столице, она привыкла путаться с маршалами... Проститутка! — вдруг завопил он и, вскочив, сжал кулаки и затопал ногами. — Вон из моего кабинета!

— Фимка! — заволновалась Кукуша. — Одумайся! Ты не смеешь так говорить!

— Вон! — кричал Ефим. — Вон отсюда! Ты не смеешь сюда входить! Здесь живут мои прекрасные герои!

Вечер получился весь всмятку.

Опомнившись, Ефим побежал в спальню, где Кукуша, лежа на животе, давилась в рыданиях. Ефим ее тормошил и просил прощенья. Она отталкивала его от себя и выкрикивала что-то бессвязное. Тишка, чтобы не

слышать этого, заперся в своей комнате и включил на полную громкость то ли "битлов", то ли что-то в этом духе. Кукуша рыдала. Ефим время от времени покидал ее и в своей комнате снова включал приемник. Все радиостанции говорили о писателе Рахлине, но невпопад. Помимо версии о покушении, было сказано, что он подвергался преследованиям за свою приверженность иудаизму и за то, что он друг академика Сахарова. Ефиму было лестно, хотя Сахарова он никогда и в глаза не видел.

Беспрерывно трещал телефон. Четыре раза звонил Баранов. Звонили еще какие-то доброжелатели, знакомые и незнакомые. Звонили корреспонденты американского агентства Ассошиэйтед Пресс и немецкого АДН. Мужской голос сказал: "Вы меня не знаете, но я хочу сказать, что все честные люди мысленно с вами". Другой голос (а, может, и тот же самый) весело пообещал: "Мы тебе, жидовская морда, скоро сделаем обрезание головы!"

Кукуша Ефима сперва простила, а потом прибежала и сама стояла перед ним на коленях: "Заклинаю тебя твоими детьми, покайся. Пойди к Каретникову, проси прощенья, скажи, что ты был в невменяемом состоянии".

Ефим сказал: "Ни за что!", а когда она стала настаивать, опять ее выгнал. И опять бегал просить прощенья. И отвечал на звонки. И слушал радио.

Спать он остался в себя в кабинете, на диванчике. Лег одетый и укрылся шерстяным пледом. А радио поставил рядом и все крутил ручку настройки, перескакивая с волны на волну. Поймал даже недоступную обычно "Свободу". И даже чью-то передачу на английском языке, из которой он понял одну только, но важную для себя фразу: "Мистер Рахлин из ноун эс

э вери корейджес персон””, то есть мистер Рахлин известен, как очень мужественная личность. Что ему, конечно, польстило.

Ефим долго не спал, чесался и думал о славе, которая свалилась на него ни с того, ни с сего. Конечно, положение его стало рискованным, но зато теперь его знает весь мир.

Он поздно заснул и поздно проснулся. Кукуши и Тишки уже не было. Пока он жарил яичницу и варил кофе, ему несколько раз звонили по телефону. Потом принесли телеграмму с текстом: ”ТАК ДЕРЖАТЬ ВСКЛ МИТЯ”. ВСКЛ означало ”восклицательный знак”, а вот кто такой Митя, Ефим вспомнить никак не мог. Пока вспоминал и дожевывал яичницу, завалился перепуганный до смерти Фишкин.

— Фима, что вы делаете! — взывал он свистящим шепотом. — Вы понимаете, что у них в партии восемнадцать миллионов человек? Это армия в период всеобщей мобилизации. На кого вы поднимаете руку?

— Соломон Евсеевич, — возражал Ефим. — При чем тут восемнадцать миллионов? Я же не выступаю против них. Я только хочу, чтобы мне дали шапку. Нормальную шапку, но не из кота пушистого, а хотя бы из кролика, как Баранову. Тем более Баранова никто не знает, — он подумал и улыбнулся самодовольно, — а я писатель с мировым именем.

— Вы дурак с мировым именем! — закричал Фишкин. — Вы думаете, если о вас говорил ”Голос Америки”, это что-то значит? Это ничего не значит! Когда они за вас возьмутся, никакой голос вам не поможет. Они раздавят вас, как клопа.

— Ну вот, — криво улыбнулся Ефим, — то вы меня сравнивали с гадким утенком, а теперь даже с клопом.

Не успел удалиться сказочник, новый звонок. Ефим, мысленно чертыхаясь, пошел к дверям, открыл и отпрянул. Перед ним кособочился, дергал левой щекой и недобро подмигивал Вася Трёшкин, небритый, нечесаный, в засаленной байковой пижаме неопределенного цвета и шлепанцах на босу ногу...

— Вы ко мне? — не поверил Ефим.

Трёшкин молча кивнул.

— Проходите, — засуетился Ефим, отступая в сторону. — У меня, к сожалению, там не убрано. Вот на кухню, пожалуйста.

Трёшкин прошел по коридору, косясь на развешанные по стене высушенные морские звезды — они к его удивлению были пятиконечные.

Ефим усадил соседа на табурет и убрал со стола сковородку.

— Хотите чаю? Кофе? Или чего покрепче? — Ефим подмигнул.

— Нет, — покачал головой Трёшкин. — Ничего. Вчера слышал про вас оттуда. — Он показал на потолок. — Стало быть, там вас знают.

— Видно, знают, — сказал Ефим не без гордости.

— Надо же, — покрутил головой Трёшкин и понизил голос. — У вас есть лист бумаги?

— Писчей бумаги?

— И, — сказал Трёшкин и подергал рукой, изображая процесс писания.

— И? — переспросил Ефим и тут же догадался. — И ручку?

Трёшкин поморщился и обеими руками показал на стены и потолок, где располагались возможные микрофоны.

Ефим побежал к себе в кабинет. Он торопился,

опасаясь, как бы Трёшкин не подсыпал в кофеварку отравы.

Схватил первый попавшийся под руку лист, но не из стопки совершенно чистой и нетронутой бумаги, которой он дорожил, а из лежащей на краю стола кипы бумажек, которые были либо измяты, либо содержали мелкие и ненужные записи, но были еще годны для каких-нибудь пометок, записок внутрисемейного употребления или коротких писем. По дороге на кухню Ефим увидел, что на обратной стороне листа что-то написано. Впрочем, запись была неважная.

— Вот. — Ефим положил бумагу чистой стороной перед Трёшкиным и положил ручку. Трёшкин опять подозрительно посмотрел на стены и на потолок, задержал взгляд на лампочке, предполагая наличие скрытого объектива, махнул рукой, написал нечто и передвинул бумагу к Ефиму.

Ефим похлопал себя по карманам, сбегал за очками, прочел:

"ПРОШУ ПРИНЯТЬ В ЖИДО-МАСОНЫ".

Потряс головой, уставился на Трёшкина.

— Я вас не понимаю.

Трёшкин придвинул бумагу к себе и дописал:

"ОЧЕНЬ ПРОШУ!"

Приложил ладони к груди и покивал головой.

Ефим втянул голову в плечи, развел руками, изображая полное непонимание.

"Не доверяет", — подумал Трёшкин.

Вдалеке затренькал телефон.

— Извините. — Ефим побежал опять в кабинет.

Телефон звонил тихо, вкрадчиво и зловеще.

— Здравствуйте, Ефим, это Лукин.

— Добрый день, — отозвался Ефим настороженно.

— Ефим, — в голосе Лукина звучала фальшивая бодрость. — По-моему, нам пора встретиться.

— Да? — иронически отозвался Ефим Семеныч. — И по какому же делу? Разве что-нибудь случилось?

— Ефим Семеныч, — Лукин начал, кажется, раздражаться. — Вы хорошо знаете, что случилось. Случилось очень многое, о чем стоит поговорить.

Тем временем Васька Трёшкин, сидя на кухне, обмозговывал, как бы убедить Рахлина, чтобы поверил. "Нет, не поверит", печально подумал он, взял бумагу, хотел разорвать, но по привычке глянул на просвет и обомлел. Там вроде по-русски, но на еврейский манер справа налево, были начертаны какие-то письмена. Возможно, ответ на его просьбу. Он перевернул бумагу и теперь уже слева направо прочел: "Первые пять букв — крупное музыкальное произведение. Вторые пять букв — переносная радиостанция. Все вместе — хирургическое вмешательство из восьми букв". Трёшкин сложил пять и пять, получилось десять. А здесь написано восемь. "Еврейская математика", — подумал Трёшкин с восхищением, но без надежды, что отгадает. Тем не менее, он понял, что отгадать нужно. Может, только на этом условии в жидо-масоны и принимают. В крайнем случае, если не отгадает, спросит Черпакова. Он сложил бумагу вчетверо, спрятал в карман пижамы и пошел к выходу.

— Поймите, Ефим, просто так я бы не стал звонить, но я считаю, что вас надо спасать. Понимаете?

— Не понимаю, — сказал Ефим, — меня спасать не надо, я не тону. Перестаньте меня считать человеком второго сорта, дайте мне приличную шапку и никаких проблем не будет.

— Ефим, вы не понимаете. Вам сейчас не о шапке, а о том, на чем ее носят, надо подумать. И я вам в

этом хочу помочь. Приходите завтра ко мне, обсудим, как дальше быть.

— Хорошо, — сдался Ефим. — Когда?

— Ну, скажем, завтра, часиков эдак в шестнадцать.

Ефим подумал (и сделал пометку в блокноте) о том, как служебное положение неизбежно отражается на языке. Не будь Лукин начальником, он наверняка сказал бы "часа в четыре", а тут "часиков эдак" да еще и в шестнадцать.

Он еще колебался, может, следует Лукина подразнить, завтра, мол, он не может. Может быть, послезавтра, может, на той неделе.

Мимо раскрытой двери на цыпочках тихо прошел Трёшкин. Он помахал обеими руками, давая понять, что просит не беспокоиться, он выйдет сам.

— Ладно, — сказал Ефим. — Приду.

В кабинете Лукина, кроме самого Лукина, Ефим застал секретаря парткома Самарина, членов секретариата Виктора Шубина и Виктора Черпакова, критиков Бромберга и Соленого, Наталью Кныш и незнакомого Ефиму блондина с косым пробором, очень аккуратно зализанным.

Каретникова Ефим увидел не сразу. Тот стоял у окна в темном заграничном костюме со звездой Героя Социалистического труда, депутатским значком и медалью лауреата. Правая рука его лежала на перекинутой через шею черной шелковой перевязи, а большой палец умело, но, пожалуй, чрезмерно забинтованный, торчал, как неуклюжий березовый сук.

Увидев, столько людей, Ефим слегка растерялся. Из телефонного разговора с Лукиным он понял, что тот приглашает его встретиться с глазу на глаз, а тут вон какая толкучка. Ни на кого не глядя, Ефим

направился к столу Лукина, чтобы спросить, стоит ли ему подождать здесь, пока люди разойдутся, или посидеть в коридоре. Но Лукин, видимо, опасаясь быть укушенным, замахал руками и торопливо сказал:

— Не подходите. Не надо. Там сядьте. — И указал на стул за маленьким, отдельно поставленным столиком.

Ефим сел. Все молчали. Лукин что-то быстро писал. Каретников левой рукой вынул из кармана пачку "Мальборо", потряс ее, зубами вытащил одну сигарету. Потом достал спички и с ловкостью опытного инвалида, зажав коробку локтем правой руки, добыл огонь. Закурили и Соленый с Бромбергом, а блондин достал расческу и причесался.

Вошла секретарша, положила перед Лукиным какую-то бумагу и что-то шёпотом спросила, на что Лукин громко ответил: "Скажите, что сегодня никак не могу, у меня персональное дело". Ефим посмотрел на него с удивлением. О каком персональном деле идет речь? Если назначен разбор персонального дела его, Ефима, то почему Лукин ничего не сказал об этом по телефону? Ефим стал нервно озиаться и заметил, что присутствующие предпочитают избегать его взгляда, Бромберг потупился, Наталья Кныш торопливо отвернулась и покраснела, Шубин был занят чисткой ногтей, и только один Черпаков смотрел на Ефима прямо, нагло и весело. Начиналось одно из милых его сердцу действий, когда много людей собираются, чтобы вместе давить одного.

Другие коллеги Черпакова, собравшиеся сейчас в кабинете Лукина, не были столь кровожадны, и в иных условиях не стали бы делать того, к чему сейчас приступали, но Наталья Кныш собиралась съездить за границу, ей нужна была характеристика,

которую, отказываясь от участия в общественной жизни, получить невозможно. Соленый, пойманный на многолетнем утаивании партийных взносов и спекуляции иконами, надеялся заслужить реабилитацию. Бромберг прибежал просто из страха. Много лет назад его обвинили в космополитизме, сионизме и мелкобуржуазном национализме, смысл всех его писаний был разобран и извращен до неузнаваемости. Его зловредную деятельность разбирала комиссия под председательством того же Черпакова. Все его попытки оправдаться воспринимались как проявления особой хитрости, лицемерия, двоедушия, попытки уйти от ответственности, он натерпелся такого страха, что теперь сам готов был кого угодно травить, грызть, рвать на части, только чтобы его самого никогда больше не тронули.

Секретарша вышла. Лукин еще долго смотрел в оставленную ему бумагу, потом поднял голову и, глядя на Ефима, спросил:

— Как дела, товарищ Рахлин?

Вчера был Ефим, а сегодня товарищ Рахлин.

— Никак, — пожал плечами Ефим, начиная сознавать, что генерал заманил его в ловушку.

— Что значит никак? На здоровье не жалуетесь?

— Не-ет. — Ефим решил держаться благоразумно.

— У психиатра давно не были? — неожиданно спросил блондин и снова достал расческу.

— А вы кто такой? — спросил Ефим.

— Неважно, — уклонился блондин.

Без скрипа отворилась дверь, и неслышной походкой вошел некто в сером. Он каким-то ловким и неприметным движением кивнул всем сразу и никому в отдельности, проскользнул вдоль стены и сел позади

Бромберга. Никто не вскочил, не всполошился, все даже вроде сделали вид, что ничего не произошло, но в то же время возникло едва заметное замешательство, перешедшее в напряженность, все словно почувствовали присутствие потусторонней силы.

Как только этот серый вошел, Каретников загасил сигарету, ткнув ее в горшок с фикусом, Соленый потушил свою о ножку стула, а Бромберг на цыпочках приблизился к столу Лукина и раздавил свой окурочок в мраморной пепельнице перед самым носом генерала. Тот посмотрел на Бромберга удивленно, поморщился, отодвинул пепельницу и, обращаясь ко всем, негромко сказал:

— Товарищи, мы собрались, чтобы разобрать заявление присутствующего здесь Василия Степановича Каретникова, которое я сейчас зачитаю.

Каретников отошел от окна и скромно занял место позади человека в сером, а Лукин снял очки и, заглядывая в бумагу сбоку, стал читать. Ефим немедленно извлек из портфеля блокнот, ручку и, устроив блокнот на колене, стал торопливо конспектировать читаемое. Заявление Каретникова было написано в странном возвышенно-казенном стиле с претензией на художественность. Обращаясь к писательской общественности, заявитель сообщал, как, пользуясь его исключительной доверчивостью и постоянно оказываемым вниманием писателям младшего поколения, литератор Рахлин проник в его квартиру под предлогом ознакомления со своей новой рукописью. Рукописи он, однако, не предъявил, но просил потерпевшего употребить свое влияние для предоставления ему, Рахлину, незаслуженных льгот. Получив решительный отказ, вымогатель перешел от просьб к угрозам, а от угроз к действиям и совершил ничем не спровоцированное

бандитское нападение самым безобразным и унижительным способом, в результате чего Каретников вынужден был обратиться к врачам, утратил трудоспособность и не может заниматься исполнением своих повседневных литературных, государственных и общественных обязанностей. "Адресуясь к своим товарищам и коллегам, — заканчивал свое заявление Каретников, — я прошу разобратить поведение Рахлина, вынести ему соответствующую оценку и тем самым защитить честь и достоинство одного из активных членов нашей, в целом сплоченной и дружной, писательской организации".

Заявление было выслушано в скорбном молчании.

— Василий Степанович, — почтительно спросил Лукин, — вы имеете что-нибудь добавить к вашему заявлению?

— Я не знаю, что добавлять, — пожал плечами Каретников. — Палец нарывает и меня уже кололи антибиотиками.

— Я бы в таком случае прошел курс уколов от бешенства, — бодро пошутил Бромберг, но его не поддержали, потому что шутка, ударяя по Рахлину, одновременно задевала Каретникова и в целом получилась сомнительной.

— Да вот так, — уточнил Каретников, смущенно улыбаясь. — Теперь я не могу писать, а завтра у меня районная партконференция, встреча с делегацией афроазиатских писателей, потом секретариат, заседание в комитете по Ленинским премиям, сессия Верховного Совета. Как я туда пойду? Не могу же я там заседать в таком виде. Я, конечно, не хотел писать это заявление. Жена настаивала, чтобы я прямо звонил генеральному прокурору. Вероятно, так и следовало бы сделать, но мне, откровенно говоря, не хотелось

выносить сор из избы и выставять в дурном свете перед общественностью наш прекрасный и дорогой моему сердцу союз. Я надеюсь, что секретариат может защитить своего товарища и без вмешательства правоохранительных органов. — Василий Степанович бросил вопросительный взгляд на макушку сидевшего перед ним человека в сером и тихо сел.

— Конечно, можем, — решительно отозвался Лукин и тоже посмотрел на человека в сером. — Но прежде чем разбираться, я должен дополнить заявление Василия Степановича тем, что эта скандальная история стала достоянием враждебной западной пропаганды. Я думаю, что некоторые из присутствующих слышали, что вчера одна зарубежная антисоветская радиостанция передавала...

— Я лично эти передачи никогда не слушаю, — сочла нужным заметить Наталья Кныш.

— Такую дрянь ни один порядочный человек не слушает, — от себя мрачно добавил Соленый.

Лукин посмотрел на Ефима.

— Товарищ Рахлин, вы тоже ничего такого не слышали?

— Простите? — Ефим оторвал от бумаги ручку и посмотрел на Лукина.

— Я вас спрашиваю, — повторил Лукин скрипучим голосом, — вы тоже ничего такого не слышали?

— Это ваш вопрос? Правильно? Сейчас, минуточку я его запишу. — Записал: "Вы тоже ничего такого не слышали?" — Поднял глаза на Лукина. — Какого такого?

Лукин, слегка теряясь, посмотрел на человека в сером, перевел взгляд на Ефима.

— Вас спрашивают... — начал Лукин...

— Минуточку. "Вас спрашивают..." — старательно занес он в блокнот и поднял голову.

— ...вас спрашивают, что вы можете сказать по поводу заявления... Да спрячьте вы свой блокнот! — вышел Лукин из себя. — Мы вас не диктанты писать пригласили.

— "...не диктанты писать пригласили..." — записывая, повторил вслух Ефим.

— Товарищи, да это же хулиганство! — закричал истерически Бромберг. — Отнимите у него этот блокнот или пусть он его спрячет.

— Ну зачем же, зачем же отнимать? — Черпаков иронически. — Надо оставить, пусть пишет. Пентагону, ЦРУ, Голосу Америки нужен же точный отчет.

Ефим слышал, что разговор принимает злоеущее направление. Рука его начала дрожать, но он продолжал лихорадочно водить пером по бумаге. Хотя не успевал, потому что выступавшие заговорили одновременно. Кныш упрекала его в неуважении к коллективу. Шубин сказал, что был в Польше и видел следы преступных действий так называемой "Солидарности". Ефим записал это, хотя связи между собой и "Солидарностью" не уловил. Но точнее других был Соленый.

— Товарищи, — встал Соленый. — В повестке дня нашего заседания объявлено, что мы должны осудить хулиганский поступок Рахлина. Но это не хулиганский поступок. Это нечто большее. Ведь вы посмотрите. Василий Степанович Каретников является выдающимся нашим писателем. На его книгах, всегда страстных и пламенных, воспитываются миллионы советских людей в духе патриотизма и любви к своему отечеству. Своим поступком Рахлин вывел из строя руку, кото-

рая создает эти произведения. Почему он это сделал? Потому что ему не дали какую-то шапку?

— Чепуха! — отозвался Бромберг.

— Тем более, что я никакими шапками не заведую, — с кроткой улыбкой заметил Каретников.

— Совершенно ясно, — закончил свою мысль Соленый, — что Рахлин действовал не сам по себе, а по прямому заданию врагов нашей литературы, врагов нашего строя.

— Правильно! — согласился Черпаков. — Это не хулиганство, а террор. Причем террор политический. За такие вещи у нас раньше расстреливали и правильно делали.

На этом Ефим записывать прекратил. Он положил блокнот на свободный стул рядом с собой и посмотрел сначала на Черпакова, потом на Лукина, потом на Каретникова, заодно обнаружив, что человек в сером уже исчез, а на его месте сидит блондин и причесывается.

Ведя себя последние дни вызывающе, Ефим готовился к разным неприятностям, но все же не к таким обвинениям. Он вдруг испугался, задрожал и помимо своей воли стал лепетать, что товарищи его не так поняли, что он не действовал по чьему-то заданию, а совершил свой поступок, который признает безобразным, исключительно в состоянии аффекта. Потому что, будучи восемнадцать лет членом Союза писателей и написав одиннадцать книг, причем все одиннадцать о хороших советских людях, о людях мужественных профессий...

— Зачем вы нам все это рассказываете? — проскрипел голос Лукина.

— Виляет! — радостно отметил Черпаков и стал

надвигаться на Ефима. — Крутит хвостом, замечает следы. Вот она, сионистская тактика!

— Молчать! — вдруг закричал Ефим и топнул ногой.

— А чего это мне молчать? — Черпаков, надвигаясь, расплывался в наглой улыбке. — Я не для того сюда пришел, чтоб молчать.

— Молчать! — повторил Ефим. Он вдруг весь сжался, задрожал, выпустил вперед руки. — Молчать! — закричал еще раз и кинулся на Черпакова.

И тут произошло невероятное.

Черпаков вдруг испугался, побледнел и с криком: "Он меня укусит!" полез под стол Лукина. Лукин растерялся и, выкрикивая "Виктор Петрович, Виктор, ты что, с ума сошел?" стал отталкивать Черпакова ногами. В это же время Ефим тоже нырнул под стол. В нем проснулся охотничий инстинкт, и он, действительно, хотел укусить Черпакова, но, когда нагнулся, с ним что-то случилось. Во рту появился сладкий привкус. Затем перед глазами возникла вспышка, какие бывают в процессе электросварки. Одна, другая, третья... Вспышки эти, следуя одна за другой, слились, наконец, в общее великолепное сияние, а тело стало утрачивать вес. Обратившись в белого лебедя, Ефим выплыл из-под стола и начал набирать высоту, а члены бюро все удалялись и удалялись, задирая головы и глядя на Ефима с широко раскрытыми ртами.

Ефима доставили в реанимационное отделение Боткинской больницы. В диагнозе сомневаться не приходилось — инсульт с потерей речи и частичным параличом правой руки.

— Положение серьезное, — сказал Кукуше молодой врач с рыжими прокуренными усами и сам весь про-

пахший табачным дымом. Видимо, ему показалось, что она не оценила сказанного, и он подумав добавил. — Очень серьезное.

— А что я могу для него сделать? — спросила Кукуша растерянно.

— Вы? — Врач усмехнулся. — Вы можете только стараться его не беспокоить.

— Да-да, — закивала Кукуша, — я понимаю. Ему сейчас нужен полный покой и положительные эмоции.

— Покой да, — сказал доктор, закуривая дешевую сигарету. — А эмоции... пожалуй, ему сейчас лучше обойтись без всяких эмоций. Без плохих и без хороших.

Кукуша с врачом, однако, не согласилась, в лечебную силу положительных эмоций она верила безгранично.

Когда ее вместе с Тишкой допустили к больному, она его узнала с трудом. Он весь был опутан какими-то трубками и проводами, а голова от макушки до подбородка замотана бинтами, отчего он казался похожим на пришельца из других миров.

Жена и сын — оба в застиранных казенных халатах — сидели у постели больного, безразлично смотревшего в потолок.

— Врач сказал, что ничего страшного, — говорила Ефиму Кукуша. — Все будет хорошо. Тебе главное не волноваться. А у нас все в порядке. Между прочим, вчера звонили из "Молодой гвардии" и сказали, что рукопись твою заслали в набор. А еще пришло письмо от директора "Ленфильма", сценарий отдан в режиссерскую разработку. Ну, что еще? Да, белье из прачечной я получила. У Тишки тоже все хорошо. Правда, Тишка?

— Все хорошо, — подтвердил Тишка.

— А что тебе сказали про твой реферат?

— Ничего особенного, — сказал Тишка. — Сказали, что опубликуют в ученых записках.

— Скромничает, — сказала Кукуша. — Академик Трунов сказал, что реферат стоит иных пухлых докторских диссертаций. Так же он сказал, а, Тишка?

— Да, сказал, — кивнул Тишка.

— Так что у нас все хорошо, ты не волнуйся, ты лежи, выздоравливай. Как только тебе можно будет есть, я тебе принесу чего-нибудь вкусного. Хочешь бульон? А может, тебе чего-нибудь сладкого? Или наоборот, кисленького? Хочешь, я тебе сделаю клюквенный морс? Нет? Ну, а чего ты хочешь? Если не можешь говорить, ты мне как-нибудь дай понять, чего ты хочешь.

Ефим поморщился и промычал что-то нечленораздельное.

— Что? — переспросила Кукуша, наклоняясь к нему.

— Саску!

— Что? Что? — Кукуша оглянулась на Тишку, тот молча пожал плечами.

— Что ты сказал? Ну, постарайся, ну, попробуй сказать более внятно.

— Фафку, — сказал Ефим.

— Ах, шапку! — догадалась Кукуша. И обрадовалась. — Ты еще хочешь шапку! Значит, у тебя есть желания! Значит, ты еще ничего. Ты выздоровеешь! Ты поправишься. А шапка будет. Обязательно будет. Нет, ты не думай, я не пойду ее покупать. Я их заставлю. Они тебе принесут. Лукин лично принесет, я тебе обещаю.

В палату вошла пожилая медсестра с набором шприцов.

— Ну все, — сказала она тихо. — Прием окончен. У нас с Ефимом Семенычем процедуры.

Я слышал, что Кукуша прямо из больницы поехала к Лукину, который принял ее с большой неохотой. Страстно попрекая генерала, она требовала от секретариата в порядке хотя бы частичного искупления вины все-таки выдать шапку ее больному мужу.

— Он находится в критическом состоянии и нуждается в положительных эмоциях, — сказала Кукуша.

Генерал сидел с каменным лицом, давая понять, что проявлений ложного гуманизма от него ждать не следует.

— Очень сожалею, но сделать ничего не могу. Мы хотели ему помочь, но он вел себя вызывающе и не хотел признать своей вины.

— Да какая вина! При чем тут вина! — закричала Кукуша. — Вы же знаете, что он умирает! Ну да, ну хотел он получить хорошую шапку, ну укусил Каретникова, но он же умирает, умирает, это же получается смертная казнь. Неужели вы считаете, что мой муж заслужил смертной казни?

На это Лукин ничего не ответил. Он смотрел мимо Кукуши и по лицу его было видно, что ему все равно, заслуживает Ефим смертной казни или не заслуживает, умрет или не умрет.

— Слушайте! — Кукуша покинула стул и приблизилась вплотную к столу Лукина. — Петр Николаевич, скажите мне, ну что же вы за человек? Почему вы такой жестокий? Ведь вы же тоже в свое время пострадали.

Кукуше показалось, что эти слова его как-то прошибли.

— Да, — сказал он и приосанился. — Я пострадал. Но я пострадал за принципы, а не за шапку. А когда по-

страдал, то ни разу... — он весь затрясся, — ...запомните, ни разу не усомнился в наших идеалах. Вот! Вот! — закричал он, извлекая бумажник.

— Вот! Вот! — передразнила, разъярившись, Кукуша. — Девочки, бантики... А человека убить — раз плюнуть. Ты, старый козел! — она перегнулась через стол и схватила его за грудки. — Если ты сам лично не принесешь моему мужу шапку, я тебе... Ты даже не знаешь, что я тебе сделаю.

Генерал растерялся, схватил ее за руки, стал оттирать от себя.

— Зинаида Ивановна! Да что это вы делаете! Да как вы смеете! Я вам не позволяю!..

Кукуша опомнилась, разжала пальцы и, обозвав Лукина сволочью, в слезах выскочила из кабинета.

На площади Восстания она схватила такси, плюхнулась на заднее сидение и плакала всю дорогу. Она не знала, что делать. Доставать шапку за свои деньги и сделать вид, что ей выдали в союзе писателей, было бессмысленно, Ефим этого трюка не примет.

Такси въехало во двор и остановилось за черной "волгой". Кукуша расплатилась и пошла к подъезду. Дверца "волги" открылась, высокий человек в темном пальто и в шляпе с короткими полями загородил ей дорогу.

— Зинаида Ивановна, я полковник Колесниченко. Кукуша вздрогнула.

— Полковник КГБ?

Человек улыбнулся.

— Нет, что вы, я пехотинец. Адъютант маршала

Побратимова. Он приехал и ждет вас в гостинице "Москва".

Это было не лучшее время для свиданий, но Кукуша заторопилась.

— Извините, я сейчас. Вы можете меня подождать?

— Так точно.

Она ринулась наверх, расшвыряла белье и через четверть часа вернулась обратно, полыхая смешанным запахом душа и парфюмерии.

Маршал занимал трехкомнатный "люкс", в прихожей которого на четырехрогой полированной вешалке висели две шинели и две папахи. Владельцы папах сидели в роскошной гостиной за овальным столом, уставленным закусками человек на двенадцать, и пили французский коньяк Курвуазье из тонких чайных стаканов. Одна бутылка 0.75 была уже опустошена, а другая почата. Было порядком накурено, сизый дым волнистыми слоями плавал в свете многоярусной хрустальной люстры.

— Зинуля!

Навстречу Кукуше поднялся один из пирующих, крупный бритоголовый человек, похожий на артиста Юла Бриннера.

Побратимов был в зеленой форменной рубашке с маршалскими погонами, но без галстука. Его парадный мундир, отягощенный орденами, висел на спинке стула возле беккеровского роаяля.

Не стесняясь присутствия Колесниченко и своего собутыльника, маршал обнял Кукушу и крепко поцеловал в губы.

— Ух! — она невольно отпрянула.

— Видать, от вас, товарищ маршал, довольно сильно разит, — приблизился к Кукуше обладатель второй па-

пахи. Это был бывший адъютант Побратимова Иван Федосеевич, теперь генерал-майор. — Здравия желаю, Зиночка, — он поднес Кукушину руку ко рту и щедро ее облизывал.

— Должно быть, и правда, разит, я и не подумал, — смутился маршал. Он был пьян, но рассудка не терял. — Сейчас тебе тоже коньячку плеснем, будем вместе благоухать.

Налил по полстакана Кукуше, Ивану Федосеевичу, себе и посмотрел на все еще стоящего у входа Колесниченко.

— Товарищ маршал, мне еще надо сестру посетить, — сказал тот. — Разрешите удалиться?

— Удаляйся, — разрешил маршал.

Колесниченко исчез. Маршал поднял стакан.

— Ну, Зинуля, со встречей! А ты что такая смурная?

— Потом. — Кукуша все полстакана выдула залпом.

— У меня беда, маршал. Мужика моего кондрашка хва...а...атила, — сказала она и разревелась.

Ей было налито еще полстакана, потом она была спрошена, в чем дело, и выслушана со всем возможным вниманием.

— И это он, значит, в борьбе за шапку себя до такого довел? — удивился маршал.

— Это бывает, — заметил Иван Федосеевич. — У нас, я помню, один подполковник тоже ожидал полковничьей папахи, а когда не дали, пустил себе пулю в лоб.

— Ну и дурак, — сказал Побратимов.

— Ясное дело, дурак, — согласился Иван Федосеевич. — Тем более, что вышла ошибка. Полковника-то ему присвоили, а в список включить забыли. Так что папаху он получил как бы посмертно, ее потом на крышке гроба несли.

— Тем более дурак, — заключил маршал. — Лучше

быть живым подполковником, чем мертвым полковником.

После открытия третьей бутылки был выслушан сбивчивый Кукушин рассказ о злодейском поведении и черствости Лукина.

— А кто этот Лукин? — спросил маршал сурово.

— Это тот, что ли, генерал КГБ? — поинтересовался Иван Федосеевич.

— Ты его знаешь? — удивился маршал.

— Так точно, товарищ маршал. Если это он, то очень даже знаю. Он тут ко мне как-то приходил, просил внука освободить от призыва. Внук у него талантливый кинооператор, спортсмен, альпинист и комсомольский вожак.

— Понятно, — сказал маршал. — И ты его освободил?

— Так точно, товарищ маршал. Освободил. Но ошибку можно исправить.

— Дошлый мужик! — сказал маршал Кукуше, кивая на Ивана Федосеевича. — Надо же, какого адъютанта лишился. Вот что, Иван, ты этому сучонку пошли-ка повестку, а когда дедушка прибежит, скажи ему, что внука загоним в Афганистан, а из тебя, скажи, если ты сам лично шапку в больницу не принесешь, маршал Побратимов совет веревку.

— Слушаюсь, товарищ маршал! Слушаюсь! — охотно отозвался Иван Федосеевич. — Прямо не скажу, а намекнуть как-нибудь постараюсь. Вы какую шапочку хотите? — повернулся он к Кукуше. — Из чижики или из пыжики?

Результатом этого разговора стала повестка в военкомат, доставленная с нарочным и под расписку одному молодому кинооператору и аспиранту по име-

ни Петя. Явившись по повестке, Петя, к его удивлению, был принят лично военным комиссаром города Москвы генерал-майором Даниловым.

Генерал был исключительно приветлив. Он вышел из-за стола, поздоровался с Петей за руку, усадил его на диван и сам сел рядышком.

— Значит, вы кинооператор? — спросил генерал, озяря Петю золотой улыбкой. — Прекрасная профессия. И не такая уж безопасная, как некоторым кажется. Я помню, у нас на фронте был кинооператор. Человек исключительного мужества. Он иногда, чтобы сделать хороший кадр, чуть ли не ложился под вражеские танки, выходил на пулеметы. Замечательный человек был. — Генерал вздохнул. — Погиб, к сожалению.

Продолжая свои расспросы, генерал выяснил, что молодой кинооператор помимо профессиональных обладает многими другими достоинствами: альпинист, каратист, активный общественник и член бюро горкома комсомола.

— Ну, вы как будто специально рождены для нас! — генерал всплеснул руками совершенно по-штатски. — Мы хотим запечатлеть нелегкий труд наших воинов-интернационалистов и поэтому нам нужен талантливый оператор. Мы хотим показать жизнь наших воинов в горных условиях и поэтому ваш альпинистский опыт будет как раз кстати. И наконец, нам нужны люди идейно закаленные, преданные нашим идеалам и готовые отдать за них жизнь.

— Вы собираетесь послать меня в Афганистан? — спросил Петя упавшим голосом.

Улыбка первый раз сползла с лица генерала.

— Молодой человек, — сказал он тихо. — Вы знаете, что в армии лишних вопросов не задают.

Все в жизни взаимосвязано. Если бы Кукуша не встретила с Иваном Федосеевичем, внук Лукина не был бы вызван в военкомат. Если бы он не был вызван, то и его дедушке незачем было б ходить туда же. Если бы он туда не ходил, зачем бы Лукин звонил Андрею Андреевичу Щупову? Результатом всех этих встреч и звонков было срочное изготовление в промкомбинате Литфонда СССР по спецзаказу шапки пыжиковой пятьдесят восьмого размера.

Когда пришла моя очередь посетить Ефима, я уже знал, что шапку он получил. Что Петр Николаевич Лукин лично доставил ему эту шапку в палату, сидел у него, рассказывал ему о своем боевом прошлом. Этим благородным поступком Петр Николаевич утвердил свой авторитет среди писателей. Все-таки, хотя и кагебешник, а человек неплохой, не то что некоторые. Нет, конечно, если ему прикажут расстрелять, он расстреляет. Но сам, по собственной инициативе вреда не сделает, а если сможет, так сделает что-то хорошее.

Ефим лежал в небольшой двухкоечной палате с выздоравливающим стариком, который при моем появлении вышел. Голова Ефима была забинтована так, что открытыми оставались только глаза, рот и нос, с вставленной в него и прикрепленной пластырем пластмассовой трубкой, другая трубка от подвешенного к потолку сосуда была примотана бинтом к запястью правой руки. Я думал, что Ефим полностью парализован, но выяснилось, что левая рука у него все-таки действует, он ей гладил пыжиковую шапку, лежавшую у него на груди.

Не зная, чем его развлечь, я ему для начала рассказал о шахматном турнире, выигранном его

любимым гроссмейстером Спасским. Не видя никакого интереса к турниру, переключился на рассказ о нашем управдоме, который за проценты сдавал проституткам свою контору.

Ефим слушал вежливо, но в глазах его я увидел немой укор и смутился. Мне показалось, что взглядом он спрашивал, зачем я рассказываю ему такую мелкую чепуху, не имеющую никакого отношения к тому высокому переходу, к которому он, возможно, готовился.

Устыдившись, я все же никак не мог сойти с колеи и рассказал что-то уж совсем глупое, опять какую-то историю про Маргарет Тэтчер и Нила Кинокка, причем историю, мною самим тут же и выдуманную. Наконец, почувствовав, что все мои потуги не могут вызвать в больном ничего, кроме желания от них отдохнуть, я решил, что пора и откланяться.

— Ну, — сказал я нестерпимо фальшивым тоном, — хватит, старик, придуливаться. Следующий раз встретимся дома, покурим и перекинемся в шахматишки.

Дотронувшись до его плеча, я пошел к выходу и уже взялся за ручку двери, когда услышал сзади резкое и мучительное мычание. Я встревоженно оглянулся и увидел, что Ефим манит меня пальцем здоровой левой руки.

— Умм! — промычал он и пальцем потыкал в шапку.

— Ты хочешь, чтобы я ее положил на тумбочку? — спросил я.

— Умм! — издал он все тот же звук и качнул рукой отрицательно.

И на мой недоуменный взгляд еще раз потыкал в шапку и показал мне два вяло растопыренных пальца.

— Ты хочешь сказать, что у тебя теперь две шапки?

В ответ он уже не замычал, а завыл, затряс раздраженно рукой. Видно было, что его удручает моя

непонятливость, а ему очень нужно донести какую-то важную мысль.

— Умм! Умм! Умм! — исторгаясь из него беспомощный крик души, и два полусогнутых пальца, как две запятые, качались перед моими глазами.

— А! — сказал я, сам не веря своей догадке. — Ты имеешь в виду, что ты победил!

— Умм! — промычал он удовлетворенно и уронил руку на шапку.

Уходя, я еще раз оглянулся. Закрыв глаза и прижав к груди шапку, Ефим лежал тихий, спокойный и сам себе усмеялся довольно.

В ту же ночь он умер.

Хоронили Ефима по самому последнему разряду, без заезда в ЦДЛ и без музыки. Был уже конец марта, светило тусклое солнце и из-под прибитого к стенам морга темного снега выползали медленные ручейки. Ворота морга были распахнуты настежь, похоронный автобус запаздывал, среди толкущихся вокруг гроба я встретил Баранова, Фишкина, Мыльников и еще не помню кого. В головах стояли Кукуша в черной шляпе и ниспадающей на глаза черной вуали и Тишка, который в заложенной за спину руке держал (я обратил внимание) не пыжиковую, а подаренную ему отцом волчью шапку. Голова Ефима была аккуратно перебинтована, но все лицо оставалось открытым и выглядело умиротворенным. Я положил к ногам покойника свой скромный букетик, обнял Кукушу и пожал руку Тишке. Здороваясь с другими, я заметил и Трёшкина. Он пришел, кажется, позже меня и вел себя страннее обычного. Кособочился, дергался и озирался так, как будто собирался что-то украсть или уже украл. Приблизившись к гробу, он наклонился к

покойнику, поцеловал его в забинтованный лоб, а потом долго и пытливо вглядывался в застывшие черты, словно пытался прочесть в них что-то понятное только ему.

Меня кто-то тронул за локоть, я оглянулся — Кукуша.

— Тебе не кажется, что он себя странно ведет? — прошептала она, указав глазами на Трёшкина.

— Он вообще странный, — сказал я и увидел, что Трёшкин быстро перекрестил Ефима, но не тремя пальцами, как обычно, а кулаком, а потом сунул кулак в гроб, куда-то под шею покойного и тут же выдернул.

— Ты видел? — шепнула Кукуша. — Он что-то туда положил.

— Сейчас выясним.

Я подошел к гробу и оглянулся на Трёшкина. Тот внимательно следил за моими движениями. На его глазах я сунул руку под шею Ефима и сразу же нашел сложенный в несколько раз лист бумаги. Я вынул бумагу и стал разворачивать.

— Стой! Стой! — подлетел Трёшкин. — Это не трогай, это не твое. — И протянул руку.

— А что это? — Я убрал руку с бумажкой за спину.

— Неважно, — глядя на меня исподлобья, буркнул Трёшкин. — Отдай, это мое.

— Но вы, — приблизилась Кукуша, — не имеете права лезть в чужой гроб без разрешения и класть посторонние предметы.

Она взяла у меня бумажку и развернула. Я заглянул через ее плечо и увидел слово, написанное крупными косыми буквами и с восклицательным знаком в конце: "Операция!"

Трёшкин смутился, задержался, не зная, как себя вести.

— Что это значит? — нахмурила брови Кукуша.

— Ну, это значит, он мне загадку загадал. А я разгадал, а он помер. Ну, я думаю, надо все-таки положить, может, там прочтет. Может, знак какой-то подаст. Отдайте! — попросил он страстно. — Я положу обратно. Не мешает же!

За воротами заурчал только что прибывший автобус.

— Все равно сгорит, — вздохнула Кукуша и, вернув Трёшкину записку, пошла к выходу.

Пока автобус разворачивался и сдавал задним ходом, во двор въехала и остановилась в стороне черная "волга". Из "волги" вылез Петр Николаевич Лукин, стягивая по дороге синий мятый берет с хвостиком посредине. Приблизившись, он посмотрел на покойника, пошептался о чем-то с Кукушей, затем стал у изголовья гроба и произнес речь, в которой перечислил все заслуги Ефима, не забыв про его фронтовое прошлое, восемнадцать лет в союзе писателей и одиннадцать напечатанных книг. А еще сказал, что покойник был человеком мужественным и хорошим, сам был хороший и в жизни видел только хорошее. Я думал, что Лукин скажет что-нибудь про людей, которые видят только плохое, потому что сами плохие, и при этом посмотрит на меня, но он этого не сделал и закончил свою речь обещанием, что память о Ефиме Семеновиче Рахлине навсегда останется в наших сердцах.

Потом мы ехали к крематорию на двух автобусах, мне досталось место в том, где стоял гроб.

На Садовом кольце мы попали в "зеленую волну" и двигались почти что без остановок. Ефим лежал передо

мной с высоко приподнятой забинтованной головой, с заостренным носом, закрытыми глазами и таким выражением, словно был сосредоточен на какой-то серьезной и важной мысли. Автобус то останавливался, то снова стремился вперед, солнечные пятна врывались внутрь и скользили по упокоенному лицу словно отблески того, о чем он думал. И в эти отблески напряженно вглядывался сидевший напротив меня Васька Трёшкин. Рядом с ним о чем-то неслышно переговаривались Баранов и Тишка, Фишкин безучастно смотрел в окно, а в мое ухо вливался шепот Мыльников, который, не упуская подробностей, пересказывал мне статью о нем, напечатанную в газете "Нью-Йорк ревью оф букс".